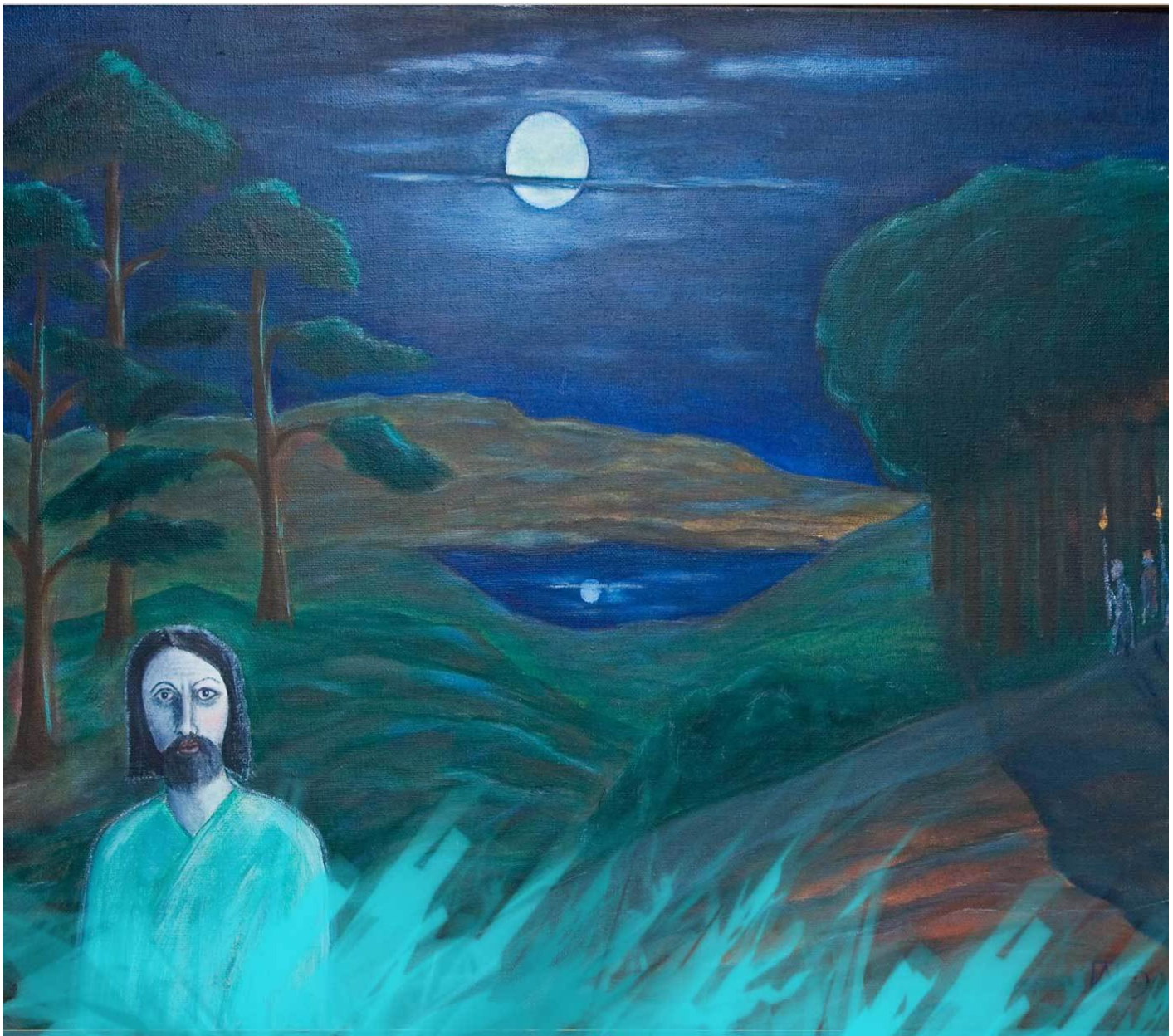

АЛЕКСЕЙ ИВИН

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ "АНДРОНИМ"

Алексей Ивин

Феноменальные рассказы

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Ивин А.

Феноменальные рассказы / А. Ивин — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

Большинство рассказов этой книги написаны после 2000 года. Они феноменальные не потому, что очень уж хороши, а потому что в каждом из них анализируется какой-либо феномен человеческой психики.
Часть рассказов опубликована в российских журналах («День и ночь», «Север», «Владимир»), часть – на литературных сайтах. Автор, российский писатель, живущий в глубинке, прежде не предпринимал попыток издать «Феноменальные рассказы» целиком.

© Ивин А.
© Мультимедийное издательство Стрельбицкого

Содержание

В ЛЮДЯХ 5
В СОСЕДНЕМ ОТСЕКЕ, или ОБЪЕКТИВИРОВАННЫЕ СВОИ 7
ВАЛЬСЁР 19
ВОРОВСКОЙ ЭСКОРТ, или ЧУЖИЕ СВОИ 27
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Алексей Ивин
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

В ЛЮДЯХ

«…слияние труда физического с трудом умственным»

У Кузюкина был выдающийся ум и широко охватывающая эрудиция. Из себя он был неказистый: маленький, сутулый, неряшливый, но много говорил о чистоте. Какими-то путями он пробился в круг малоизвестных писателей и занял там низшую ступень, намереваясь начать неторопливое, мерное, неуклонное восхождение. Писал он много, весомо, как Дюма-отец, но партком требовал от него слияния с народом.

И вот однажды, истощив запас сюжетов, он вспомнил пункт Конституции, вынесенный в эпиграф к нашему рассказу. «Хорошо! – сказал он сам себе. – Пойду в люди!» В тот же вечер он торчал у каждой доски с объявлениями – искал работу, чтобы набраться свежих впечатлений в общении с народом.

И вот он на тарной базе.

И вот он подошел к груде беспорядочно сваленных ящиков, выбрал самый большой, поднатужился, напряг свои жидкие молочные мускулы и взвалил ящик на плечи. Его тотчас занесло в сторону, но, чувствуя, как подгибаются ноги и режет плечо, он двинулся вперед медленно и скорбно; как подвыпивший калека, он делал изумительные попытки выровнять походку и принять добрый вид человека, которому случалось носить ящики. Прохожие бабы сочувственно улыбались вслед.

– Эй, стой! Ты куда пошел-то? – окликнули они его. – Это «промышленный», его надо вон туда нести…

Кузюкин с трудом остановился, тяжело развернулся, как шкаф, и с гримасой боли, отчаяния, негодования и смирения побрел в дальний угол двора, лавируя среди разбросанных ящиков. Так вот он каков, физический труд! Взяв непосильную ношу, Кузюкин все же твердо решил донести ее. И нес, нес! Задерживая дыхание, стиснув зубы, подбадривая себя: «Ну, еще немного… еще чуть-чуть…» А и ящик-то был сравнительно легкий. Наконец он свалил его среди нагромождения таких же, шумно вздохнул, расправил занемогшую спину и мрачно заключил: «Нет, эта работа не по мне!»

По тарному двору стелился черный жирный дым со стороны асфальтового завода. Острая копоть царапала глаза, впивалась в кожу, оседала на губах, попадала под рубашку, смешиваясь с потом, скрипела на зубах; дышать в таких условиях было решительно невозможно; тысячи прочих гнусных неприятностей взвинчивали нервы Кузюкина. Ему хотелось лечь в «рыбный» ящик, напоминавший по форме гроб, и помереть, засыпанному асфальтной пылью. «Право же, как глупо устроен мир! – размышлял наш герой. – Разве это справедливо – таскать на спине «зефир бело-розовый» или «яблоки Бере», или «помидоры рязанские», ощущая их ужасную тяжесть и несъедобность? А как горько, досадно носиться по двору тарного цеха, обняв одной рукой откровенно деревянную, жесткую, колючую, занозистую «свинину украинскую», а другой поддерживая увесистый ящик, где некогда пребывали «пряники воронежские», которых тебе не видать, как своих ушей! А до чего скучны, тяжелы, продолговаты «макароны»! А народ здесь? Пока я их не знал, как я любил их! Они все были для меня ударники коммунистического труда. Теперь же я их ненавижу… Так что же ты ищешь здесь, пустой ты человек? Ведь единственное, что тебе надо усвоить, это то, что все в мире изменчиво, и то, что минуту назад

удовлетворяло тебя, теперь разонравилось. И какие они все скоты! Да ну его к черту, этого народа, – у меня договор с издательством на пятнадцать тысяч рубликов!…»

Так закончилось пребывание писателя Кузюкина в людях.

В СОСЕДНЕМ ОТСЕКЕ, или ОБЪЕКТИВИРОВАННЫЕ СВОИ

I

Предостережение, что этот прием – пунктира – уже применяли и Леонид Андреев в драме «Жизнь человека», и Андрей Битов, не должно бы влиять на автора. Но влияет и почему-то тотчас возникло. Может быть, это предостережение оставить на совести тех – внешних – сил, которые не хотят, чтобы автор в этом рассказе что-либо исследовал? Может быть. Потому что я-то надеюсь, что рассказ по стилю и по объему – короче, – получится все же не как у этих двоих.

Так вот: отрок 17 лет, окутанный облаком грез и предвкушений, Георгий Живов имеет в своем распоряжении электропроигрыватель и стопу пластинок. Распахнув окно в летний палисад, в котором мокрые после дождя кусты смородины слабо благоухают, ставит одну за другой пластинки и так кайфует почти каждый вечер. Палисад отвернулся от улицы и выходит, как ни странно, в огород, а в огороде ничего замечательного, кроме картошки, которая тоже мокрая и цветет. Дождевая туча еще стоит над головой, но дождь уже перестал. Движения по улице Логатова в этот час почти никакого: тихая грунтовая дорога с канавами вдоль нее по обеим сторонам, крапива вдоль заборов и мостки, по которым редко когда услышишь стук каблуков прохожего. Тишина после дождя такая, что даже слабый звук пластинки слышен четко, громко. Георгий Живов, хотя его окно выходит в огород, молод и понимает, что ведь по улице может пройти красивая девушка, какая-нибудь, и она услышит звуки музыки и любовные призывы. Пусть не его, а певцов, но все равно: главное ведь не любовь, а грезы по ней, ее ожидание. И вот он ставит пластинки одну за одной. Французские шансонье, Моцарт, Высоцкий, Окуджава, ансамбль «Орэра», Майя Кристалинская, ансамбль «Песняры» – здесь есть из чего выбрать, но на третий день кайфа он слушает уже только одну – черную, большую, как диск Сатурна, пластинку болгарской певицы Лили Ивановой. У нее знатный голосина, грудной, проникновенный, обымающий, и даже когда она визжит, не срывается до фальцета. «Серцето бие, бие, бие это бува», – напевает он приблизительно, потому что болгарским не владеет. Георгий Живов – русский; он такой глупый молодой русский человек, что даже еще не понимает, что его имя и фамилия звучат на сто процентов по-болгарски. Этот факт им еще не осознается – из-за недостаточного житейского опыта; но даже если пренебречь подсознанием, его выбор любимицы – Лили Ивановой, а не Муслима Магомаева, например, у которого голос-то не хуже, все равно еще не объясним. А между тем это почти такой же выбор, по которому хорошо натасканная свинья тотчас найдет трюфель и пренебрежет, скажем, веселкой или молодым мухомором.

II

Спустя семь лет Георгий Живов сидит в Петергофе в студенческом общежитии, потому что поступил учиться на исторический факультет Ленинградского университета. Бессознательные порывы в нем не только не смягчились, а даже усилились, став опасными для него самого. Он, правда, уже женат, но еще не осознал этого. Жену он оставил в Логатове, потому что ему лень переводиться на заочное отделение, а вдвоем в Ленинграде на студенческую стипендию не прожить. Можно даже сказать, что он запутался. Молодые самцы бывают бессознательно любопытны, но, случается, как бы не в себе: без самоотчета о своих поступках. У некоторых безответственность сохраняется до глубокой старости; одни называют ее оптимизмом, другие

кивают на свой сангвинический темперамент, третьи говорят во всех случаях жизни: «не бери в голову!» По разнарядке одного психолога тех лет, но уже из Московского университета, это гедонистическое переживание: «внешне легкий и внутренне простой жизненный мир». Он из тех айсбергов, которые над поверхностью океана вообще не возвышаются, – и тем опаснее при столкновении.

Он лежит и слушает (вы будете смеяться) оперу Моцарта «Волшебная флейта». Здесь у него нет тех пластинок, что были в Логатове, и Моцарт не тот: там были сонаты. И проигрыватель чужой: он позаимствовал его у знакомых студенток-болгарок на том же этаже. Они нахваливали ему песнопения Кукузела, но он сказал:

– Классику хочется послушать.

И они дали ему «Героическую симфонию» Бетховена и эти пластинки Моцарта; он унес пластинки к себе, и вот сидит слушает.

Он такой простофиля, что – когда приспичило послушать классику и он вспомнил, что у Велички Стояновой есть кое-что для услаждения слуха посерьезнее поднадоевшей эстрады, – ему даже не пришло в голову приплести и похвалить в разговоре их, болгарскую, певицу Лили Иванову. А ведь был повод, и какой. А девушек, Величку и Таню, в свою очередь интригует, болгарин он или нет; этот вопрос интригует их давно, между собой они его обсуждали, но вновь вспыхнуло это обсуждение после того, как он унес у них проигрыватель и пластинки.

– Да говорю тебе: он болгарин, – сказала Таня, тонкая и смуглая красавица с косой, с тем неповторимым разрезом глаз и смуглотой, которые происходят у них там, в Болгарии, от смешения турецкой и славянской крови.

– Он не понимает по-болгарски. Я нарочно наблюдала за ним, когда мы при нем ссорились: не понимает, ни слова!

– Ну, значит обрусел. Какое у него отчество?

– Павлов. В зачетке стоит: Павлов.

– Ну вот: Георгий Павлов Живов. Надо спросить, когда он опять придет, откуда у него такое имя.

– С такой внешностью лучше бы его звали Урхо Калеви Кекконен, – засмеялась Величка, и обе уткнулись в книжки, потому что были большие зубрилки, а предстоял коллоквиум по истории Древней Руси.

Муть в голове и в сердце у Георгия Живова такова, что только музыкой и спасаться. Он лежит на кровати, заложив обе руки за голову, и грустит под музыку; верхний свет в комнате потушен, горит только настольная лампа с красным абажуром, так что в ней почти интим при свечах. Товарища по комнате нет: он слинял к своим ленинградским родственникам и там заночует. Будь он сколько-нибудь ушлым, опытным человеком, он бы понял, что его так томит, что прошибает почти до слез под моцартовские арии: он без жены, а плоть требует своего; неутоленное влечение бурлит в нем и клокочет, как магма в недрах вулкана. Он бы, может, выпил, но нет денег; еды в комнате завались (в основном, от заработков старшего товарища, который сейчас гостит у родственников): яблоки, груши, полкастрюли азу с тушеной капустой и суп с говядиной; есть даже кофе и лишняя пачка сигарет «Галуаз», а денег нет ни копья, за вычетом тех, что отложены. И стипендия будет нескоро. По всему по этому Георгий Живов находит музыку Моцарта слишком уж гармоничной; он лежит-слушает, легкие звуки заполняют комнату и поверхностно раздражают душу, не проникая в глубину. Он злится, злится, злится на Моцарта, потом решительно останавливает мембрану, снимает пластинку и ставит симфонию Бетховена.

Вот! Вот это другое дело. И надо бы еще погромче, еще хаотичнее: «Полет валькирий» или Шёнберга. Потому что все это такая преснятина, все эти мазурки, эти адажио. Товарищ говорил, что у немцев только музыка и хороша, а литература и живопись – вздор, одно умнича-

нье. Георгий Живов очень доволен, что комната загромождена громкими звуками, того и гляди прибегут жаловаться соседи. Он ловит кайф, он в состоянии, созвучном его душевной смуте.

За свои 23 года Живов мало что видел, мало что понял, а если женился, то из потребностей полового инстинкта, скоропалительно; молодые собаки по первости тоже способны так жениться. А тут вдруг университет, множество разношерстного народу и иностранцы. Ясно, что к иностранцам он проявляет особый интерес. Его интересует, что они – испанцы, поляки и болгары – между собой говорят по-своему, а в общении с ним легко переходят на русский. Похоже даже, что он немного завидует им, внимателен до низкопоклонства, изучает поведение чужого этноса в российском социуме. Причем не он один: все так и лучатся доброжелательностью к болгарам, все так и пристают к ним, чтобы напоили ракией и рассказали в подпитии о болгарских диссидентах. Живов сам не раз сиживал и у этих девушек, и у других, и его ничуть не смущало (как человека недостаточно воспитанного), что они действуют в своей комнате, как бы его не замечая (или это он неприлично долго засиживался?). Тут срабатывает не всемирная отзывчивость русского к чужой культуре, а щенячья привязанность к иностранцам. И то, что даже братья болгары, не говоря уж об испанцах, образуют клан, позволяют резкие высказывания об образе жизни, менталитете и государственной политике русских, очень его занимает: вот, оказывается, какие живут свободные цивилизованные народы. О себе, русском, о своей родине России и развитом социализме Живов и сам невысокого мнения, так что насмешки болгар над иными особенностями русского быта ему понятны: вот, оказывается, какие мы пентюхи. Он сейчас лежит и думает, не какой он титан, этот Бетховен, а какие они симпатичные, эти болгарки, какие у них всегда тосты, тартинки, фисташки, оливки к мясным блюдам, плетеные салфетки, циновки возле кроватей, яркие глянцевые болгарские и английские книги и альбомы по искусству, фломастеры, кассеты с записями. Эти странные женщины-курилки и кофеманки даже ведут, с немногими предосторожностями, прямую подрывную работу, потому что именно через них, а не через испанцев, поступают в студенческую среду книги русских писателей эмигрантов и страшный распутник Фрейд. И это тоже в них занимательно – что они ведут эту наказуемую деятельность, за которую их вполне могут отчислить из университета. Так что Георгий Живов лежит и размышляет, прикроет его староста, если он смотается на выходные в Логатов к жене, или сэкономить отложенные деньги и провести время с девушками?

И еще одна – при том – особенность есть у болгарских девушек, которую Живов за полгода совместного обучения приметил, но не может еще определить. Когда сидят они в мужской компании среди своих черноволосых и смуглых болгар, да и с русскими студентами, – надо видеть, как они смотрят на мужчин, с каким восхищением. Как подданные на царя, как вассалы на сюзерена, как наложницы на султана. Пусть он прожил всего двадцать лет с небольшим, но никогда он у русских женщин в компании с мужчинами не наблюдал таких взоров. Тонкая смуглянка Таня, уж на что бойкая, умница, способная болтать бесперебойно и живо, как станковый пулемет с холма, и та держится с Властимиром и Йорданко как покорная раба, которая сознает, что мужское слово весомее, чем ее. Может быть, еще и поэтому Георгий Живов любит бывать у болгарок? Ведь вот из русской комнаты его бы давным-давно и грубо выперли, случись у девушек нужда переодеться или обсудить женские проблемы; болгарки же обтекают его, как если бы он был племенной божок, хранитель очага, так что ему и на ум не пришло бы, что он их сковывает. «Наверное, это у них после османского владычества», – лениво думает сейчас Георгий Живов, лежа на кровати, но понимает, что этим особенность болгарской женственности нисколько не умаляется и не охватывается. Мало того: благодаря этой особенности, он чувствует себя у них своим, принятым.

От последующего события в дальнейших воспоминаниях Георгия Живова осталась некая муть, непроясненность, – может быть, потому, что та же муть, деревянная бесчувственность при выраженной активности, были присущи и ему самому в те дни.

Ближе к ночи в его комнату постучала и вошла Величка.

– Ой, слушай, я совсем забыл… – спохватился Живов, собираясь выдергивать штепсель из розетки и отдавать проигрыватель.

– Да ладно тебе, Георгий, слушай на здоровье. Я еще принесла пластинки, Чайковский и Дебюсси. Ты Дебюсси никогда не слышал?

– Нет. По-моему, это что-то изысканное, французское? Amoureux, entre nous soit dit? – пошутил Живов.

Величка засмеялась: юмор замечания заключался в том, что на курсе во французской группе были лишь они двое, Георгий и Величка, и преподавательница, чтобы не тратить на них двоих драгоценные часы, как-то раз – тоже в шутку – предложила им ежедневно с четверть часа общаться по-французски между собой («Я вас с занятий буду отпускать, а в конце года поставлю зачет, ça va?» – спросила она).

У Велички Стояновой была очень нестандартная внешность. Она была плотная, толстенькая, прямо как надувная кукла, с широкими бедрами и странной поступью груженого слона, если смотреть из джунглей; внешне она чем-то напоминала те первобытные фигурки рожениц, в которых подчеркивается только зад и узкие плечики с неразвитой грудью. У нее было широкое лицо, но глаза, нос и губы мелкие, и это тоже производило странное впечатление: на лице оставалось много свободного места, а лоб, широкий, чистый, с зачесанными назад пепельными густыми волосами, своей шириной и основательностью походил на бычий: у молодых бычков меж рогов от плоского носа и широко расставленных глаз тоже впечатление мощи, упрямства и чистоты (так и хочется погладить). Голова была, пожалуй, даже великовата, если бы не роскошные – свои – пепельного цвета волосы, которые она часто укладывала на затылке. Когда она разговаривала или смеялась, на щеках появлялись очаровательные ямочки. Всей своей неуклюжей грацией она напоминала жницу с картины Венецианова (то есть старорусскую) или молодую корову, которую так и хочется хлестнуть прутом, чтобы она поторапливалась. Она была спокойнее, вальяжнее, чем Таня, и очень молода: всего шестнадцати лет. Георгий часто испытывал к ней товарищеские чувства, хотя и не мог преодолеть некий барьер.

– Кофе? – спросил он.

– А не поздно?

– А это не ваш. Я знаю, вы пьете молотый и завариваете, а это растворимый.

– Да? Где достал?

– Это Андрей. Он дежурит в одном коммерческом магазине, в котором продают всякий страшный дефицит. Садись, я поставлю чайник.

– Папа говорил, когда я уезжала, что в России сейчас голодно, но я не думала, что в такой степени. Ведь ничего же нет.

– Ничего, хоть шаром покати. А у нас есть ещё груши и даже мясной суп.

– Как ты сказал? Повтори выражение…

– Хоть шаром покати. Это говорят, когда пустые полки. Гладкая поверхность, понимаешь? – хорошо катится шар.

– А-а. А Андрей где?

– Уехал к родственникам. У него в Ленинграде родственник, важный человек, по-моему, директор треста.

– И не приедет?

– Ну, ты же видишь: последняя электричка уже пришла, а его нет.

И в эту минуту в дверь постучали, и вошел Василий Шнырев.

Студенческие общежития известны тем, что жизнь, особенно интимная (дружеская и любовная), в них после полуночи только начинается. Гостевания и неожиданные визиты возможны в самый поздний час и даже если один из товарищей уже спит. Поводы могут быть разными, но всегда неотложны.

– А я зашел к Андрею, – загнусил Василий Шнырев прямо от дверей. – Ой, и Величка здесь! Как поживаешь?

Муть из сердца у Георгия Живова с появлением Велички ушла, но в голове осталась; он стоял рядом с ней и держал ее за руку, но если вы думаете, что он осознавал это, то заблуждаетесь: он это сделал безотчетно. И хотя Шнырев видел, что они стоят рука об руку, ни Живов не испытывал раздражения на поздний визит Шнырева, ни Шнырев не собирался уходить, узнав, что Андрея нет и не будет. Это была некая комбинация, сочетание фигур, позиция в транс-мобилизации третьего этажа студенческого общежития в Петергофе под Ленинградом, частный консенсус и ночное рандеву. Не надо забывать, что верхний свет так и не был включен, полыхала лишь настольная лампа с красным абажуром, создавая интим, и на письменном столе стоял распахнутый проигрыватель. Притронувшись к Величке и как бы ее обаяв, Георгий Живов тут же вышел с чайником на кухню, потому что в комнате вскипятить его было не на чем: чайник был обычный, эмалированный. И Шнырев с Величкой остались временно одни.

Этот Шнырев был тот еще тип: маленький, сутуленький, уже немного плешивый, с тихими, робкими и заискивающими манерами и при этом большой резонер. Не было случая, чтобы он заговорил об абстракциях и туманностях, зато вот о том же чайнике, какие они бывают конструктивно, что делать, если отскочила эмаль, как удалить накипь, замотать теплоизоляцию и всякое такое, – об этом он мог толковать часами ровным голосом ханжи – богомольца. И сейчас он наверняка толковал Величке, какие у Андрея есть замечательные спортивные штаны на молнии и с пуговицами. Из-за этой его приставучести никогда нельзя было понять, куда он клонит и чего хочет: Шнырев увязал в деталях, производя иногда впечатление больного человека.

Поставив чайник на газ, Живов прошелся еще в уборную – привести себя в порядок, а оттуда заглянул еще к одному своему другу, которого обнаружил спящим. Муть в голове не исчезала; на мигрень это не походило: казалось, что в мозгу лишний, сверхкомплектный или съемный, участок, который ноет, беспокоит, нудит. Но чайник для кофе был поставлен вовсе не поэтому, а чтобы задержать Величку, раз уж он решил не ездить завтра к жене, а поболтать с девушками. На похмелье это тоже не было похоже, но он шатался в коридоре, как подвыпивший, стучал в другие комнаты и словно бы тянул время, лишь бы не возвращаться к Величке. Это было как бы продолжением прежнего кайфа, только уже двигательным. Промелькивала тоже мысль, что надо бы выгнать из комнаты их обоих и сесть готовиться к семинару по истории КПСС.

Когда он вернулся, Шнырев сидел в подозрительной близости от Велички и своим скопческим голосом увлеченно рассказывал, какие у них в Саратове есть кроличьи фермы и какие там делают замечательные шапки; было прямое ощущение, что он соблазняет Величку, но не мужскими достоинствами, а хозяйственной сметкой: вот, мол, если поладим, я тебе достану такую шапку и мы поедем в Саратов. Хуже всего, что слушали его весьма внимательно, а колени собеседников соприкасались. У них было настолько все на мази, что Живов даже сперва подумал, что ошибся дверью, попал не к себе и следует деликатно оставить их вдвоем.

– Скушнарев, тебе не из чего пить кофе, – ляпнул Живов, хотя раздражения против Шнырева у него по-прежнему не было: он не допускал мысли, что этот плюгавец мог заинтересовать такую девушку, как Величка.

– А я схожу принесу, – ответил Шнырев с комической серьезностью, отметая грубый намек; вид у него при этом был такой свежий, точно он готов просидеть возле дамы всю ночь.

– Не верь ни одному его слову, – сказал Георгий Живов, когда за Шныревым закрылась дверь. – Мы прозвали его Скушнарев, он способен часами – вот так, ни о чем. Он до университета методистом работал в школе.

Живов сел на освободившийся после соперника стул, и теперь уже его колени соприкасались с коленями Велички. У сидящей болгарки, особенно в нижней части, из-за широких бедер

или из-за зигзагообразного рисунка плотно натянутого узкого платья, был вид уютно свернувшейся кольцами анаконды. Георгий Живов достал из ящика стола пачку «Галуаз», выщелкнул сигарету, и они оба с удовольствием закурили и заговорили о Болгарии: какая там обстановка возле Родоп, есть ли радиация.

Вернувшийся вскоре Шнырев побил все рекорды, потому что просидел еще целый час. Из прежнего разговора Георгий Живов понял, что к Тане пришел любовник и поэтому Величке на пару часов просто некуда деться. Так что и он тоже сидел и занимал даму разговорами. К концу часа совершенно обалдевший от кофе и курения Живов уже чувствовал себя мелкими железными опилками, которые намертво пристали к телу Велички, особенно к ее нижней части. В самом положении плотно сжатых и таких крепких, что не ущипнуть, обнаженных бедер, в плотном покое этой змеиной позы было что-то завораживающее, так что Живов смотрел уже не в лицо, а куда-то около пупка и округлостей девичьего живота. Величка в своих шутках и интонациях была скорее грубовата, чем женственна, и остроумие ее, спровоцированное подковырками Шнырева, тоже было какое-то непонятное; но муть в голове студента Живова разрасталась уже на треть головы, и он понимал, что скоро начнет действовать спонтанно, ничего не соображая и себя не сдерживая. К концу часа даже ему стало ясно, что Шнырев сидит нарочно, дабы ему помешать, и будет сидеть, сколько захочет, пока не сжалится. И в этом заключалась еще одна мука, и тоже неотвязная, вроде ямочек на бледных щеках Велички. Они сидели, и Живов нравственно страдал, но не от усталости или сонливости, а от того, что в голову закралась – закралась, как навязанная, – явственно звучащая фраза «они вдвоем пасли одну телку», и оставалась там в разных модификациях. Сознавать комичность, нелепость положения и все-таки длить его было ужасно неловко.

Когда, наконец, Шнырев с вызовом и смешочками поднялся, чтобы уходить, Величка тоже встрепенулась на стуле, но Живов взял ее плотный кулачок в свой и произнес жалобно, нисколько не стесняясь свидетеля:

– Останься еще…

– До встречи на лекциях, – произнес Шнырев на прощание с таким почти старческим смирением, что Живову захотелось разорвать его на куски. Величка осталась сидеть, только закинула ногу за ногу.

В существовании случаются минуты скомканного восприятия. Это не обморок, когда теряешь сознание; не оборотничество и подмена, когда как бы кто-то третий стоит между вами и даже ощутим; не заморочка с отводом глаз от объекта восприятия; не грезы наяву, когда объект восприятия кажется не тем, кем является на деле, а выдуман, соткан из фантазий. Но это не было и провалом в восприятии, когда между поступками вполне трезвого и суверенного человека как бы напрочь исчезает с десяток минут или даже час времени. То, что произошло с Георгием Живовым, было вызвано все-таки, вероятно, мутью в его голове. Она внезапно исчезла, возможно, сразу вслед за Шныревым, а может, через час после, – и Живов уже восчувствовался, осознал себя, начал давать отчет в своем существовании и поступках с момента, когда увидел себя стоящим рядом с Величкой и обнимающим ее (она тоже стояла).

– Запри, – только и шепнула она, и пока он ходил до двери и оттуда вернулся, то увидел, что она резко, по-мальчишески снимает платье через голову. Она нагнулась только расстелить постель, когда он уже опять обнимал ее и целовал в горячую ключицу. Прижавшись, Величка доставала ему до плеча, но вся была такая горячая, тугая, соблазнительная, что он даже и раздумывать не стал – упал с нею в кровать. У него там сразу появилось ощущение, что он выполняет сложные упражнения на горячем надувном матрасе, на множестве теплых и тугих воздушных шаров, которые под ним шевелятся и пружинят. Он с истомой и старательно целовал ее, но казалось странным, что, хотя она плотная и маленькая под ним, губы все равно до лица не достают, а ищут соблазнов на ее груди и плечах. Плечи оказались роскошные, неожиданно широкие, а лицо в розовой подсветке от настольной лампы – испуганным

и опьянелым. Он не вполне себя в эти минуты понимал и сознавал, он даже посматривал на себя со стороны, отчего собственные движения казались не более уверенными и уклюжими, чем ползанье щенка в поисках материнских сосков. Он чувствовал себя слегка потерявшимся и недопустимо нашкодившим, но оторваться от этого прелестного молодого и горячего тела не мог бы ни за какие коврижки. Вместе с тем стесненные, укромные движения Велички, испуганные распахнутые глаза и взволнованный шепот по-болгарски (вроде бы она называла его «другарь», или «друже», или «миловен») – их обоюдные ласки, помимо того, что были неопытные, еще отдавали и чем-то детским, целомудренным. Он почти физически чувствовал, что он в эти минуты для нее если и не ее ребенок, то в любом случае лишь повеса мальчик. Которого она поощряет и призывает к мужеству и силе. Сил у него было много, беспорядочных, бестолковых, но странным казалось, что обнимала-то его, и очень крепко, она, и поощряла она; он был громоздкий хам, мужлан, тупица за непристойным, предосудительным занятием. Вместе с тем, если и свербила совесть, то не оттого, что он нарушает супружеские клятвы, а оттого, что, недомерок и недоумок, неожиданно обладает незнакомой, иностранной ценностью. Величка утешала, укрощала, прижимала и втягивала его грешное и неуклюжее тело, но вот уж в чем он не мог бы сейчас присягнуть, так это в том, что торжествует над нею, возобладал или покорил. Оба их тела были так пронизаны напряжением и избыточным желанием, что для его утоления не хватило бы и бесконечной ночи. Тем более что время опять точно ужалось, укоротилось, и как-то чрезмерно скоро от начала упражнений он выжал из себя и из нее короткий сладострастный стон.

– Милый, милый, не спеши, – говорила она уже по-русски, но настолько запоздало, настолько невпопад с ним, что он лишь слабо улыбнулся на ее просьбу. И опять в ней, когда она приподнялась и села на кровати, появилось знакомое – привычное и копотливое – что ему вроде бы случалось наблюдать: от матери, от кого-то, кто его мудрее и старше. Он вроде бы не должен был этого делать, но сделал. И теперь в создавшемся положении что-то неправильно, непривычно. Она же иностранка, она не знает, как себя вести в чуждой обстановке; может быть, у нее чрезмерно щедрое предложение, а он этим воспользовался; может быть, она не знает себе цены; может, ей еще и нельзя, потому что нет шестнадцати лет.

Он был очень сконфужен за себя и за нее. Она стояла, коренастая и широкобедрая, повернувшись к нему боком, и он неуверенно обнял ее за голые крепкие ягодицы и ткнулся головой в живот – в то место, к которому так сегодня влекло. Он был какой-то весь маленький, несовершенный, не способный полно, четко, ясно и прямо высказать себя, свою неизъяснимую муть.

III

– Oh, mais oui! Qui est absente aujourd'hui? Velitchka, ditez-moi, s'il vous plait.

Преподавательница французского языка, хитрая, рыжая, экспансивная, ясно видела, что отсутствовать некому, потому что оба ее птенчика налицо, но ей надо было развивать у них навыки разговорной речи.

– Tout est prêt? – неуверенно спрашивала Величка, потому что сомневалась, надо употреблять «tout» или «tous».

– Non, non, non! – яростно жестикулируя, возражала рыжая русская француженка. – «Tout est pret» это «все готово». А как будет «все на месте», Георгий?

Георгию вся ситуация была совсем непонятна. Хотя он провел с Величкой всего одну ночь, целовались они так, что нежная кожа вокруг ее рта и до сих пор была раздражена его щетиной, а на одной скуле, на той, которой она прикасалась к подушке, образовались мелкие прыщики. Хитрая француженка щурилась, смеялась и задавала быстрые экспансивные вопросы, и по глазам было видно, что она догадывается об их любовной связи; но так как расспрашивала и шутила она всегда по-французски, Георгий Живов не все понимал. Он пони-

мал только, что эта странная, сосредоточенная и вместе отрешенная, болгарская девушка, для каких в России есть термин «распустеха» или даже «раскоряка», совсем ему чужда, стесняет и не нуждается в знаках его внимания. Он смотрел на нее, как рыба в иллюминатор, и ничего в ней не понимал. И от того чувствовал себя еще большим тупицей и глупцом. И все время мучился совестью, потому что к жене в Логатов его тоже не слишком тянуло, хотя староста готов был отметить его присутствие на лекциях. Он запутался. Он совсем запутался. И во французском языке тоже ни фига не пендрил, и таких дураков, как он, во Францию не зовут. Он не чувствовал себя даже польщенным, что он студент университета и близкий друг иностранки. Он ее по-детски стеснялся и, когда в перерыве занятий уходили под лестницу курить, не знал, о чем с ней говорить. И она, вероятно, тоже, потому что если близко стоял болгарин или другой хороший знакомый русский, она тотчас к нему приставала, и они начинали болтать и смеяться. Вся ее широкая мордашка с мелкими светло-серыми глазками и ямочками так и жаждала симпатии и похвалы, но смеялась Величка так хрипло и курила так много, что Георгий Живов не мог этого одобрить. Говорить им было не о чем, потому что их связывало что-то другое: не симпатия, не влечение, не взаимное любование – что-то другое. Что-то, о чем молчат. Болгарский же язык и их быструю болтовню он даже не тщился понимать: он был еще заумнее французского. Может быть, уже в эти месяцы начала студенческой жизни ему следовало понять, что он не станет полиглотом и не поедет за границу, потому что и в своем-то внутреннем мире ориентируется плохо. Муть, муть стояла в голове; он мог только липнуть, а отнюдь не решать и действовать; какой-то был в нем довесок, из-за которого он становился безнадежно бестолковым, невежественным и суевером, как смерд двенадцатого века.

– Величка, зачем тебе еще и французский? – спрашивал он, когда они курили и посматривали на шмыгавших по лестнице студентов. – Ты и так уже два языка знаешь.

– Я еще и румынский понимаю, только не говорю. – Величка выдувала дым узкой струей, как реактивный самолет, в сторону от собеседника; курила она жадно и много, как крематорий, и, скорее всего, потому что стремилась избавиться от полноты. По той же причине она мало ела. – Мне сказали, что ты женат. Правда?

– Да.

Она спросила об этом отчужденно и равнодушно, но даже Георгий Живов, с его мутью в голове, понял окончательно, что второй ночи не последует. Не потому, что он себя не зарекомендовал, или бесчувствен, или женат, или ей не симпатичен, или иностранец, а потому что на их чувствах – табу, запрет. Вот как нельзя весталке переспать с мирянином без того, чтобы связь не получила скандальную огласку, так и им нельзя быть вместе. Какие-то они одинаковые, как родственники. Это его мучило, казалось несправедливым, и, бессознательно цельный, он по-своему стремился разобраться в проблеме. Она была вот тут, рядом, эта обаятельная платиновая блондинка, но – за границей, за ощутимой перегородкой, за стеклом иллюминатора. Ничего нельзя было понять. В Георгии Живове поднималась волна смутного интереса к возникшей коллизии, но ни злости, ни умственного напряжения, ни энергозатрат, необходимых для исследования проблемы, он не ощущал. Наплевать и забыть. Все дураки, помянуть Чэпмена.

IV

Между тем комбинация марионеток, позиции в поэтажной трансмобилизации и договорные консенсусы менялись своим чередом. Только для действующих лиц закономерности не были очевидны.

Любовником Тани стал южанин, из Краснодара, тоже пепельный блондин, русский. Георгий Живов еще ходил к девушкам-болгаркам поначалу, потому что краснодарец был ему симпатичен и обе девушки тоже. Но это было заплывание в чужой ареал, который понемногу ста-

новился и неприятным – из-за болгар Властимира и Йорданко: оба были там тоже частые гости. Георгий Живов сидел там среди салфеток и камышовых циновок, в облаках болгарских сигарет и крепкого турецкого кофе, но интерес ко всему этому был внешний. Величку все чаще видели вместе с Йорданко Велевым.

Йорданко Велев, жилистый, смуглый, кудрявый и черноволосый южанин, с той жесткой складкой у рта и хищной грацией, какая характерна для воюющих мужчин Кавказа или непримиримых сербов, в окружении болгарок производил впечатление восточного принца, озабоченного расширением султаната. Если бы финн Георгий Живов был умнее, он бы понял, что ему просто следует быть понастойчивее и пожестче, и он бы оттеснил Велева. Потому что краснодарец тоже был женат, и темпераментная Таня устраивала ему жестокие сцены южной страсти. И комбинация марионеток была бы очень симметрична и закономерна. Однако Величка уже склонялась к Йорданко, кудрявому, смуглому и жилистому, как мужской подвид болгарки Тани. Йорданко Велев не был многословен, но по этажу и на кухне ходил с молчаливым видом отважного петуха, который озабочен прокормлением гарема. За все то время, пока сохранялась эта комбинация марионеток, Георгий Живов не сказал с Йорданко Велевым и двух слов; они были как два сторожевых катера разных стран в пограничных водах: лояльны. Лояльны, но жестко молчаливы и насторожены. Георгий Живов не испытывал к своему сопернику ни зависти, ни ревности, ни злобы, а только временами слабую досаду отвергнутого. Потому что в обществе своего болгарина Величка воспринималась еще более девственной, более странной и этнически обособленной. Он только чувствовал, что, особенно когда они встречались на кухне или на уроках французского, она бы не прочь ему пожаловаться, не прочь снова воззвать к его мужеству. Но Живов не хотел ее отбивать и завоевывать, потому что и с той, в Логатове, не знал как расхлебаться; он даже допускал, что следует поискать чего-нибудь третьего. По всему по этому муть в его голове не уменьшилась, а даже расширилась: оказывалось, что некоторые экзистенциальные положения и абсурдны, и неразрешимы. Но долженствование перевешивало, и Живов ездил в Логатов за утешением.

Понемногу получилось так, что Йорданко Велев и Величка Стоянова стали повсюду бывать вместе и даже поселились в комнате по соседству.

– Слушай, Андрей, так они женаты или нет? – пристрастно спрашивал Георгий у своего товарища по комнате, когда болгары поселились рядышком. – Или просто уговорили коменданта общежития, чтобы им дали эту комнату?

– Да откуда мне знать? Ты думаешь, они мне показывают свои паспорта? Знаю, что свадьбы не было. Но они ведь могли просто расписаться в своем посольстве.

Георгий задумался и ощутил досаду. Когда они жили дальше по этажу, в своем болгарском крыле, все их разборки, гостевания и романтические любови не очень-то его и касались, но поселиться, и притом вдвоем, открыто, даже с неким безнравственным вызовом, рядом, через стенку, – это совсем другое. Ведь теперь их жизнь будет у него на виду, теперь надо здороваться, а он на дух не переносит этого самоуверенного непонятного болгарина. Ему даже как-то пришло на ум, что Йорданко кого-нибудь зарезал – такая от него исходила аура. На страх это не было похоже, но это опять был некий имморализм, какая-то, фиг ее знает, откровенная непристойность и вытряхивание домашнего мусора у всех на виду. Георгий задумался, и задумчивость его не покидала. Андрей много шутил по этому поводу, издевался и даже впрямую спрашивал, но Георгий своей тайны не выдал. Он не выдал бы ее никому, потому что она была сокровенная, а сплетни по этому поводу, исходящие от Скушнарева или Тани, не затрагивали сути дела.

С того дня, как болгары поселились рядом, и в течение всего года ситуация оставалась стабильной: после лекций они заползали к себе и жили семейной жизнью, а их соседи Георгий и Андрей – жизнью холостяков. Стена была проницаема для громкого разговора и ночного

звука, и Георгий теперь часто слышал неразборчивую гортанную иностранную речь и по ночам скрип пружин кровати.

– Да он ее трахает по шестнадцать раз на дню, – смеялся склонный к цинизму Андрей, укладываясь спать. – Ты думаешь, чего он такой худой? Наедятся мяса с аджикой, запьют сухим «былгарским» винцом «Варна» – и пошло-поехало. У них на юге очень ответственно к этому делу относятся.

Перед сном у них с Андреем уже стало традицией прохаживаться насчет супругов за стенкой, точнее – язвил и злословил Андрей, причём в таких выражениях, что вяли уши, Георгий же стеснялся и смущенно улыбался, не считая, тем не менее, нужным защищать моральный облик Велички: она была чужая супруга, они жили семьей. Неприятно, конечно, что он попользовался ею лишь раз, а этот грубый неутомимый болгарин – и днем, и ночью; неприятно, что из их комнаты почти каждую неделю несется звон стаканов (собираются все болгары с курса и шумят), а его не зовут; неприятно, что каждое утро, уходя на лекции или в умывальню, он встречает этого сухощавого, скуластого и кудрявого болгарина и вынужден отчужденно здороваться; неприятно, что, как тень, как лермонтовская черкешенка с кувшином за водой, эта странная, без талии и шеи, молодая неуклюжая женщина мягким голосом приветствует его и тотчас потупляет взор, потому что теперь в ней и впрямь что-то от покладистой рабыни (облако безропотности укрывает ее всю); неприятно, что все это странное добрососедство (Тани с краснодарцем и их троих) длится и длится без перемен и исхода, хотя, по сути, двусмысленно и недопустимо, нетерпимо ни часу. В такой расстановке фигур все недопустимо, все пошло и неприемлемо, но и изменить ничего нельзя. И Живову оставалось лишь со скрытым любопытством к чужебесию и инобытию наблюдать, к а к у других народов, в частности, у болгар, строят личную жизнь.

Если поначалу личная жизнь Велева и Стояновой еще трудно фокусировалась перед глазами постороннего и жесткого наблюдателя из соседней комнаты; если поначалу он то и дело слышал из-за стенки, как Величка убедительным, все более оживленным и резким говорком (ворковала) разубеждает в чем-то супруга и оба надолго замолкают; если первые недели они еще, должно быть, радовались новой комнате и своим супружеским обязанностям, то малопомалу оба совершенно потеряли стыд и сдержанность. Чем дольше жил Георгий Живов рядом с ними, тем более его глаза лезли на лоб от удивления. Теперь Величка и Йорданко ссорились уже каждую ночь, перед тем как лечь спать. У них шли монологи: убыстряющийся, настойчивый, оправдывающийся – Велички, требовательный, резкий, на повышенных тонах и еще более продолжительный – Йорданко. Уму непостижимо, сколько говорил этот молчаливый, практически немой на людях, болгарин! Когда Живов сидел дома один и, отложив учебник, с печалью в сердце слушал, как они за стенкой ссорятся, точно свора одичавших псов, чередуя свои темпераментные монологи с аффектацией и модуляциями актеров на котурнах в древнегреческой агоре, он чувствовал свою смутную большую вину и вместе с тем тайное злорадство. Вина была оттого, что, хотя Йорданко с ним здоровался подчеркнуто вежливо и такой же слышал отзыв, было не исключено, что болгарин его ревнует. Георгий Живов, финский русский, чувствовал, что он вроде как незаконный или нелюбимый сын этих двоих или, может, любовник своей матери Велички, которым его отец Йорданко втайне недоволен. И хотя его отношения с ними были теперь благопристойны, ровны, сдержанны и корректны, могло быть, что первопричина их ссор – в нем. Это он виноват, Живов, хотя и всего-то провел с Величкой одну ночь, причем прежде, нежели болгарин. Но Величка уже не была девственницей, так чего на него злиться? Или, может, болгарин упрекает ее, что она ему отдалась, и требует, чтобы она прекратила общаться с русскими и посещать занятия по французскому языку? Да если так, то ради бога: все равно они на этих занятиях сидят, как два истукана, так что француженка впрямую спрашивает, какая кошка между ними пробежала. Или, может, болгарин хочет ребенка, а Величка – не хочет? Может, он внес непоправимый раскол в болгарскую диаспору и теперь преступник?

Злорадство же Живов, особенно когда Андрей дежурил в ночь, а супруги за стенкой ругались, испытывал тогда, когда многоречивый, как единственный цыган посреди двух десятков пестрых цыганок на узлах и шалях, Йорданко получал вдруг от Велички резкий и очень жесткий отпор. Выглядело это так – в восприятии Живова – что супруг хотел, а супруга ему не дала. И выходило, что, следовательно, она любит русского. За стеной наступала тягостная тишина, а блаженно улыбающийся сосед супругов думал, что, наверное, южанам противопоказана моногамия: им, наверное, надо многих топтать, как петухам; тогда они не будут так наступательно пылки, так настойчивы. И вялый по темпераменту Георгий Живов внутренне улыбался и даже хихикал, потому что его-то не интересовали обе, и эта, и та, что в Логатове, и даже возможная третья. Они его напрочь все не интересовали, он из-за них не то, что страстные получасовые монологи не будет произносить, он из-за них через губу не захочет сплюнуть. И если бы можно было как-то естественно иначе отцеживать семя и семени сопутствующую муть из головы, он бы не знал и этих забот. Он потаенно злорадно улыбался, что Величка сегодня опять с ним, и садился изучать социальное устройство Киевской Руси.

Его вообще удивляло и вводило в недоумение, как южане, испанцы и особенно болгары, всерьез живут, как они без всяких условий и допущений, напрямую действуют. Он бы так никогда не смог, он бы ни за что в эти пошлости и беспрерывные разбирательства не вляпался, потому что даже с мутью в лобно-височной части черепа все равно прикидывал и обосновывал свои поступки. Эти же жили как головастики в прозрачной весенней луже и с той же закрытостью – настолько честно, настолько безусловно, настолько под его наблюдением. И когда они, собравшись всем кагалом, галдели и на весь этаж обсуждали свои проблемы, Георгий Живов чувствовал, что преклонение перед иностранцами сменяется презрением. Видит бог, он честно пытался их постичь, другие народы, но не преуспел в этом. Все равно они были какие-то непонятные… В Россию зачем-то приехали – зачем? Они, наверное, отщепенцы своего болгарского народа, поэтому и оказались в Петергофе. А иначе как объяснить их пребывание здесь? Русская история им зачем-то понадобилась – чего в ней для других интересного?

Молодая супружеская жизнь этих двоих стала для него каким-то уроком, каким-то назиданием, только он не мог понять – каким. И если вначале он симпатизировал в этих ссорах Величке и, может, даже был ущемлен, то со временем Йорданко стал ему даже симпатичен – несчастный, обязанный обслуживать и ублажать эту упрямицу. Конечно, он много горячился, но Живов не был уверен, что достанься Величка ему, он горячился бы меньше. И мало-помалу он свыкся с неприятным соседством, да и болгары как-то присмирели и пообтерлись: Величка училась из рук вон плохо, да и Йорданко не лучше, и это притом, что общественными делами в университете они не занимались.

Как-то раз ему пришла на ум мысль, что эти двое копируют, дублируют, переносят из прежней его жизни и демонстрируют перед ним отношения, которые он словно бы наблюдал: так ссорились бы отец с матерью, когда его еще не было на свете, и он не мог свидетельствовать; было много за то, что так оно и есть, но все же чаще Георгий Живов не мог избавиться от ощущения, что они обезьянничают с других лиц. Тоже с его родных, но с других. Может быть, это сестра с мужем. Может быть, кузина. Могло быть, однако, что они из тех родственников, с которыми он еще не знаком – в силу разных причин. И этот бесплатный каждодневный спектакль ему приелся. Жизнь была тяжелая, голодная, нервная, у него хватало своих проблем.

V

Как многое в действительной жизни, не романтизированной, положение фигур видоизменилось само собой: еще до окончания университета Живов вынужден был перейти на заочное обучение и вернуться в Логатов, а болгары еще прежде отселились в семейный коттедж. Жена, та, что в Логатове, оказалась тоже не подарок, и Георгий Живов потратил на нее много

сил и средств, вознагражденный весьма слабо короткими минутами близости и нежности. В злую минуту, уже в Логатове, он предпринял аналитическое расследование вопроса и пришел к выводу, что поскольку болгары – это, собственно, волгари, племена, переселившиеся с Волги, Величке Стояновой следовало стать любовницей или женой Василия Шнырева, который жил на Волге, в Саратове. Это было бы разумно. У них же почему-то получился конкордат из четырех южан (потому что в краснодарце вполне могла быть турецкая или греческая кровь). Этот анализ ничего не дал ни уму, ни сердцу.

Георгий Живов был очень глупый человек. Ему не пришло на ум вспомнить, как он слушал, распахнув окно своей комнаты, в теплые летние дни любовное пение болгарки Лили Ивановной, а спустя семь лет – з а х о т е л болгарку (пусть даже она всего лишь волгарка, то есть волжанка). Если бы он не оказался так глуп, а все учел, то еще через пятнадцать лет не стал бы знакомиться с Маргаритой.

Маргарита (у которой, кстати, была сестра Таня) была старше Георгия Живова на восемь лет, имела взрослого сына и родилась в городе Актюбинске, что в Казахстане. Это была подвижная очаровательная блондинка с широким лицом, крепким аккуратным носиком и маленькими, почти китайскими по разрезу, светло-серыми глазками, очень бойкая, без шеи и без талии. Когда она смеялась, восприняв очередную подковырку Георгия Живова, на щеках играли обворожительные ямочки. Рассказывать дальше?…

ВАЛЬСЁР

Не знаю, сколько в Швейцарии в 50-х годах XX столетия было автомобилей. Думаю, что уже немало. Вальсы Штрауса и Шуберта тоже уже звучали повсюду, не только в Австрии. И еще жил один писатель из большого семейства художников и сумасшедших.

Итак, из декабря 1956 года, из психиатрической лечебницы в Херизау, в немецкоязычном кантоне Швейцарии, с учетом метемпсихоза, перенесемся… ну, скажем, в 1996 год, в Илькино Меленковского района Владимирской области России. «Меленки» – это буквально «маленькие мельницы». «Мели, Емеля, твоя неделя» и «Всё перемелется, мука будет» – вот какие пословицы вспоминаются при осмыслении этого названия. Сорокалетний Борис Кашеваров тоже немного пописывал, как и псих из упомянутой лечебницы; в папке с тесемками у него хранились три законченных рассказа и с десяток «миниатюр» – того беспредметного лирического лепета, из которого ни о душе, ни о мире, ни о самом писателе ничего не узнаешь. Он и живописал тоже – работал на пленэре, имел этюдник, краски, холсты грунтованные и простые, кисти, мольберт, но известно ведь: картину-то написать нетрудно – кому она нужна? Беспечный и безответственный, как все художники, Борис Кашеваров жил в простой избе и работал дояром на ферме. Не техником по обслуживанию доильных аппаратов, не разъездным электриком, – нет, дояром. Если обратиться опять к той же австрийской школе психоанализа, можно сказать, что Кашеваров сублимировал свои онанистические привычки, дергая буренок за соски. Ничего предосудительного в этой профессии нет; вон американские фермеры и вымя сами подмывают, и фляги с молоком сами развозят, но Борис Кашеваров жил в России и сносил много насмешек из-за своих занятий.

Как он выглядел? Высокий, худой, угловатый, ходил боком и улыбался стеснительно, но руки имел длинно-палые, крестьянские, как и его метемпсихический донор. В избе он жил один, но иногда его видели в Меленках у одной бабы, которая не осуждала его за его занятия: лишь бы человек был хороший. «Бабами» в России называют лиц женского пола, коротко стриженых, в штанах и с мужскими пристрастиями; «баба», в противность «женщинам», которые крайне редки у нас, – это, в сущности, мужик с грудями и женскими гениталиями, «брат» для мужа. И вот Борис Кашеваров тоже нашел своего брата. В России распространено братство (вы знаете об этом из истории средневековых удельных княжеств), так что ссориться-то не из-за кого: женщин-то нет. Ни стирать, ни готовить, ни о детях заботиться брат не умеет, но выпить с мужем он всегда готов, и подраться тоже. И вот Борис Кашеваров тоже нашел себе такого. Да он и сам, у себя в избе, как только чувствовал смутные творческие влечения, не за краски хватался, не красивый пейзаж в окрестностях разыскивал, – он себе красненького виноградного винца или коньяку, если были деньги, наливал – и невещественные устремления его тотчас покидали, и о красоте природы больше не думалось. Картину-то написать нетрудно, но кому она нужна?

При переселении душ, как известно, из донорского контента кое-какие качества безвозвратно теряются. Нам сейчас интересно, в кого превратился на русской почве неадекватный, но вымуштрованный и дисциплинированный швейцарец. Ведь известно, что последние двадцать лет он сильно ленился, перешел целиком на социальное обеспечение за счет налогоплательщиков и, когда к нему начал ходить Карл Зеелиг, уже демонстрировал распад личности. Ну, на кухне поможет картошку чистить, ну, судно за собой вынесет, а так… в основном, баклуши бьет. И Борис Кашеваров тоже все чаще засиживался за рюмкой и бездумно созерцал огненные закаты, вместо того чтобы их фиксировать для благодарных потомков.

Вы бы не хотели, чтобы распадающаяся личность реинкарнировалась, хотя бы и в славянина? Я – тоже, но нас не спрашивали – ни тогда, когда гитлеровцы изолировали неполноценных людей не арийского происхождения, ни сейчас, когда робко пробуют стерилизовать нар-

команов и пьяниц. Важно понять, какие потери и приобретения случаются при метемпсихозе. Ведь швейцарец, по сути, отказался интерпретировать действительность, пусть даже манерничая, умствуя и по обыкновению без успеха у немецких покупателей; логично было бы, если бы такое травоядное существо, уже даже не одаренное способностями, по свидетельству его психотерапевта, перевоплотилось бы в собаку или, допустим, в каштан, а не в Б. Кашеварова: потому что Борис-то Кашеваров оказался все же не бездарен, пописывал и рисовал. И даже зарабатывал физическим трудом (в этом последнем он, конечно, уже впрямую наследовал швейцарскому пациенту, помощнику медперсонала).

В сентябре 1996 года Кашеваров гулял обычно по одному и тому же маршруту – километров примерно восемь, чтобы хорошенько пройтись перед сном и устать, для моциона. Он шел мимо общественной бани, которая вечно ремонтировалась и щерилась из узких окон на прохожих неравновеликими опилышами, и, минуя железнодорожный мост через реку, шел дальше по шпалам метров двести, до тропы в лес. На мосту он часто задерживался, чтобы сверху взглянуть в светлую, пустую воду, в которой не плавало ни одного живого организма хотя бы с мизинец ростом; удовлетворение состояло в том, что там тоже всё было мертво, как и в душе. Если бы мир оставался детским, как было сорок лет назад, какие бы толпы и косяки плотвы, какие бы юркие миноги и щурята слонялись теперь в осоках! «Сорок лет не проходят бесследно, – думал Кашеваров, попинывая странные белые грибы, кое-где проросшие из-под шпал. – А вот полотно жэдэ полагается засыпать щебнем, чтобы хвощи и всякая гадость не разрушала путь». Он сворачивал налево и под насыпью спускался в такой высокий сальник, что пропадал в нем, как в джунглях; гигантские розетки, облепленные жирными мухами, укрывали его, а тропа под ними ослизла от жирных палых листьев. Дальше тянулся глухой бетонный, с провалами, забор птицефабрики, с иргой и калиной в амбразурах обрушений, а потом тропа перпендикулярно пересекала шоссе как раз у бензозаправки. Шикарные автомобили на въезде и съезде, особенно если за рулем сидели молодые женщины, уже слегка раздражали Кашеварова: тонкие руки этих стервоз лежали на руле беспечно и спокойно, а белокурые локоны даже не касались подголовника. Дальше, сотню метров по дачной улице, Кашеваров думал, что не складывается в его теории, почему женственные женщины, чаще всего, еще и преуспевают, – вот хоть эта блондинка в иномарке, – на велосипедах же и пешком всё чаще встречаются «бабы», братья… Он брел в тяжелой пыли проулка (осень стояла сухая) и с досадой понимал, что ни эстетических диковин не встретит на привычном маршруте, ни достаточной пользы для здоровья не получит, а только, пожалуй, дорвет левую кроссовку, в которой истрепалась стелька. Проулок поворачивал налево под окнами недостроенной безобразной дачи с краю, а Борис Кашеваров, провожаемый höhnische Stimmen, устремлялся прямо, по кромке песчаного карьера, в котором дачники черпали строительный песок. Строений дальше не предвиделось, напряженность и мелкое злобление на богачек исчезали, и под говор мелких осин навстречу свежему ветру путник уходил по травянистой колее. Как собака, у первой же крупной придорожной сосны он расстегивал ширинку и долго с облегчением мочился, чтобы освободить заодно уж и мочевой пузырь, как душу. Конечно, практической красоты и пользы для здоровья может и не случиться от прогулки, но душевное малокровие отступит и надежда возродится, – во всяком случае, пока он под пологом леса. В кустарнике и мелколесье часто виднелись «нежинские» («невежинские») рябины, хоть и одичавшие здесь, но согнутые под тяжестью крупных оранжевых кистей, а в колею из кустов то и дело просовывалась сизая ежевика, которую ничего не стоило ловко подцепить и объесть. «Насмешливые голоса» стращали карой и советовали путнику ближе к ночи пограбить обывательские дачи, набрав слив и яблок, а не употреблять дикорастущие плоды, подобно лесному зверю, но Кашеваров понимал, что цивилизованных граждан в одном только Владимире и в одной только Москве близко к десяти миллионам, и потому он не выдержит конкуренции: ведь он от юности своей не посещал даже детский сад. Нет, куда ему! Не было в его жизни пионерской побудки по горну и коллективных

игр в песочницах, и потому так часто посещают его горькое томление в обществе и былинный восторг от горизонтальных видов в голубой дымке, открывающихся с холма и в одиночестве. Он не мог совместить потребности душевного здоровья и бытового комфорта, потому что этот последний был почему-то доступен и легко доставался только детсадовским воспитанникам.

Тропа через триста метров опять утыкалась в крутую железнодорожную насыпь, уже другую, двухколейную, для пассажирских поездов, и шла под ней по опушке мелколесья еще метров двести. Здесь по весне было много земляники, а сейчас мешала ступать белесая, перевитая вьюнком и засоренная побуревшим люпином, осенняя трава. Опять налево тропа отворачивалась от железной дороги и вела вглубь мелкого, сухого, с запахом торфа и манжетки, редкого сосняка. Если была потребность, Кашеваров с пониклым взором и опущенной головой несколько минут занимался «грибной охотой», как об этом пишут безмозглые натуралисты, но чаще шел безостановочно, реагируя только на ежевику и грибы, проросшие непосредственно в колее. Если насвистывали дрозд или овсянка, он останавливался и тоже несколько минут отзывался на свист. Птицы были очень глупые, оживлялись, вторили, а иногда и слетались на его не слишком умелые манки и передразнивания; замечая перепархивания птиц и их быстрые силуэты, Кашеваров разом соскучивался и шел дальше, потому что, несмотря на врожденную беспечность и художественную жилку, ребячиться быстро надоедало.

На растоке тропы он ни секунды не медлил и выбирал всегда интуитивно – правую, если хотел погулять подольше и посетить поляну, левую – если хотелось домой. Лесники здесь недавно опахивали тропу на случай лесных пожаров, свежие рытвины и бугры еще не везде, как следует, утоптались, идти было трудно, а в сырую погоду и скользко. Лес по обе стороны был отвратительный – слева тощие березки, ирги все в засохлых коринках, малинник и брусничник, справа – мрачные шатровые ели, под которыми удобно было прятаться от дождя, но угнетало недвижностью и глухотой. Здесь нечего было рисовать, потому что сорные кустарники и мелкие деревья выглядели непривлекательно, а темные ели отнимали и последний оптимизм, если в эти полчаса все же удавалось его нагулять.

Да, вот этого он хотел – здоровья, спокойствия, юношеского задора, при котором опять хотелось бы ошибаться, любить и надеяться. Надо бы не бояться и не убегать, а просто-напросто однажды забыться, пренебречь сорокалетним опытом, бесстрашно лезть в бурелом, если там блеснула шляпка гриба, и увлекаться крупными, в рыжую крапинку, как свежий железный окисел, лесными бабочками. И чтобы всякое желание было своим, изнутри, и чтобы вместо секса была здоровая, себя не сознающая чувственность. И чтобы гулять не по заведенному маршруту, не ради здоровья, а потому что повлекло, накатило, захотелось не в эту опять восьмикилометровую «восьмерку», а, например, в кино на «Тарзана». Чтобы действовать спонтанно, а не как этот швейцарский псих на послеобеденном променаде в лечебнице в Херизау.

Здесь он опять сворачивал налево, мелколесье отступало, по краям тропы высился редкий сосняк и просматривался в своем хороводе далеко, как колонный зал, но и в чистом сухом бору, где не зашелохнет ветер и не дрогнет хвоинка, душа оставалась пасмурной. Значит, ей требовались не ежедневные прогулки, а сущностные перемены. У кого как, а у него душа старела именно от застоя, от длительного общего благополучия; жить надо удивляясь, если же удивляться нечему – это смерть. Он понимал, что «баба» Людмила его не покинет, но в художественных салонах Москвы и даже Владимира он нуль. Но укреплять здоровье необходимо, чтобы твоих врагов проносили мимо тебя в гробах, и так, пока не пронесут последнего. После этого можно распуститься и умереть самому. Последний лесной участок пути был засыпан мусором, мелкими свалками и продуктами жизнедеятельности Солнечной улицы, в которую, наконец, и выходила тропа.

По Солнечной улице стояли крепкие кирпичные особняки с подвальными гаражами, злобными псами в подворотнях и телескопическими антеннами на стенах. Достаток владельцев подравнивался взаимной завистью, но архитектурных излишеств не было, а в разряд «эсте-

тики» и «красоты» Кашеваров поместил лишь живописные посадки кипарисника в одной из оград да странный изыск на чердаке одной простенькой дачи: цветное фото красивого печального женского лица 2 х 2 метра. Улица не была заасфальтирована, ноги вязли в густой пыли, на придорожных шиповниках гудели пчелы.

Кашеваров вернулся на тот же путь, по которому шел, опять пересек шоссе у бензозаправки, опять скрылся в гигантских зонтичных зарослях и опять по шпалам прошел железнодорожный мост и всю улицу до крыльца своего дома. Это было верхнее кольцо его восьмикилометровой «восьмерки», четыре километра. Для здоровья следовало пройти все восемь километров – в обратную от прежнего маршрута сторону, вокруг озера.

Он потоптался у своей избы, раздумывая, чего больше, – пользы или вреда, – будет, если продолжить прогулку? Решил, что пользы, пересек улицу и проулком мимо детского сада двинулся в парк. Из-за ограды детского сада наглый мальчик, одетый, как куколка, окликнул его: «Дед! Дедушка! Здрассте…». Наверно, мальчик практиковал почтение к старшим, которому его учили няньки и воспитательницы, но Кашеваров разозлился, что производит впечатление деда: рано вроде бы. Хорошо бы, как один недавний маньяк, с ножичком пощекотать этих маленьких тварей, чтобы не дразнили почтенных взрослых людей из-за ограды. Он прошел мимо заброшенных разбитых гаражей, в которых ночевали немногочисленные местные бродяги, сорвал несколько кистей уже перезрелой черемухи и среди рослых кустов сирени прошел дальше, до лесопилки и первых деревьев парка. Под соснами парка разбегались многочисленные дорожки, усеянные пивными банками и шишками. Почему-то пришла в голову мысль, что соседка через три избы от его собственной, тетя Ира, которой было восемьдесят лет, тоже вот так для моциона много гуляла каждый вечер, а тем не менее все равно скоро померла – «убралась» с глаз долой, оставив хозяйничать на земле, вопить, кидаться песком и гуськом ходить в столовую таких вот наглых мальчиков. «Ну, если так рассуждать, жить вообще не стоит, – подумал Кашеваров. – Задача ведь в том, чтобы дождаться, когда такого вот наглого мальчишку, который чуть подрастет и сядет впервые за скутер, мимо тебя пронесут расплющенного на носилках, а ты как всегда выйдешь на прогулку».

Кашеваров шел по длинной аллее, его обгоняли велосипедисты, навстречу шли молодые мамаши с колясками. Кашеваров думал, что это всеобщее соревнование бессмысленно, он все равно проиграет. Он проиграет потому, что все больше людей, которые от утробы до могилы е з д я т – сперва в прогулочных колясках, потом на велосипедах, скутерах, автомобилях, в инвалидных креслах, – ездят на колесах, даже если им рекомендованы пешие прогулки. Это соревнование не выиграть никогда, потому что лет через сорок они вообще все станут летать, не утруждая себя передвижением по суше: выходя из дому, нацепят за спину рюкзак с аэромобилем, взмоют в небо – и привет! В ситуации, когда все передвигаются, с каждым годом стремительнее, не спасет даже уютная кондиционированная палата в психиатрической лечебнице, даже монастырская келья. Куда приведут эти всеобщие гонки? Ведь ясно же, что, оставленные без опеки старики отстанут в этих гонках, а эти мальчишки, окруженные любовью и вниманием, – начнут всё больше наглеть, здороваясь из-за ограды. По его наблюдениям, часто получалось так, что дети с ним здоровались, именно когда он недомогал: ага, мол, старый пердун, захворал, так тебе и надо! Это производило впечатление издевки, утонченного надругательства молодой силы над угнетенной старостью.

В магазин при швейной фабрике Кашеваров решил не заходить, а двинулся прямо по асфальтированной дороге к перемычке: толстая дренажная труба здесь изливала светлую воду ручья прямо в озеро, стоять над водой было приятно.

Борис Кашеваров не понимал, зачем он живет. Размышляя об этом, он так и этак, чуть ли не морфологически разбирал свою фамилию, но выходил вздор. Кашевар – это повар в крестьянской артели или воинском соединении. Кашевар ублажает, кормит ораву веселых и голодных мужиков, а сам терпит насмешки, переносит шутки, а на войне зачастую и презрение

товарищей, которые считают его симулянтом. Таков и художник: раздаривает свои картины за спасибо, у всех на подозрение за свою беспечность и богемный образ жизни, в действительности же – нищий благодетель человечества, альтруист и вечный бедолага. Вот почему он произошел от спятившего швейцарского писателя: потому что был ему действительно братом; ведь у того в родне двое братьев впрямую числились художниками, а один – даже преуспевал. И вот, откинувшись на сочельник в 1956 году, Роберт Вальзер препоручил свою бедную душу Боре Кашеварову, который только-только родился на белый свет и вовсю заливался плачем на руках своей матери. Но какой смысл было продолжать этот выморочный род Вальзеров, в котором одни дегенераты? Это было как минимум непонятно, в этом не прослеживалось никакого смысла, потому что из дегенерата, при такой-то карме, мог развиться только еще худший монстр, только совершеннейший неумеха и козел отпущения: крестьянская артель перенесла на него свои коллективные грехи и отпустила в пустыню. И вот дояр Борис Кашеваров, сорока лет отроду, проживает в пустыне Илькино Владимирского княжества на Руси и прогуливается каждый вечер перед вечерней дойкой как заведенный, как какой-нибудь Иммануил Кант. Зачем? Какой во всем этом смысл, какой замысел? Что он имеет, поилец и кормилец всей этой паскудной оравы, которая, нажравшись от него, над ним же трунит? Роберт всего лишь вальсировал, всего лишь порхал, всего-навсего уклонялся от борьбы, отсиживался в тихой обители скорби, а Борис и вовсе поселился в деревне, как какой-нибудь русский народник X1X века, которые, как известно, бескорыстно просвещали темный, угнетенный народ. Какой смысл – продолжать эту тупиковую, дегенеративную линию? К нему даже друг Зеелиг не ходит брать интервью… Людмила из Меленок? Да ей по фигу его художественные склонности, его альтруистический подвиг: лишь бы погреться возле мужика – всё не одной скучать.

Итак, каков же смысл его ежедневных променадов?

Дренажная труба на перемычке особенно тщательно была засыпана щебнем и отутюжена асфальтоукладчиком. Борис Кашеваров бездумно стоял над тихой светлой водой, которая медленно изливалась из нее, наблюдал хищнические полеты крикливых чаек над прудом (чайки, как гарпии, сверху высматривали тощих уклеек и пикировали на них; так и представлялся какой-нибудь верхний палеолит и рыбоящеры над молочно-теплыми заводями), наблюдал одинокого рыболова в камышах и, постояв так, устремлялся дальше, на холм, поросший соснами. Он понимал, что через несколько часов ему идти на вечернюю дойку – насаживать доильные аппараты на упругие коровьи соски, – и так вплоть до самой своей смерти. Земную живописную красоту он любит, молоко пить любит, но таковое свое предназначение – не понимает и не приемлет.

Здесь, на перемычке, или дальше, на вершине холма под одной и той же сосной Бориса Кашеварова всегда приспичивало еще немного отлить продуктов полураспада из своего гнилого организма, и самый утилитаризм этой каждодневной процедуры его непременно бесил, а особенно – если моча была темной, следовательно, концентрированной от всякой внутренней отравы. «Я ублажаю всю эту гнусную команду потребителей живописи, как Вальзер – немецких и швейцарских обывателей, а сам ничего не значу, – с горечью думал Кашеваров. – Они гнусно издеваются надо мной… Зачем жить? Тот бедняга не умел завязать петлю, а я – и того хуже… Разве не горько? Разве не обидна такая участь?»

С холма хороводы редкого сосняка и гладь озера слегка эстетизировали забубенную тотальную меланхолию художника Кашеварова, так что спускался с холма он уже чуть повеселевшим: все-таки, когда горизонты раздвигаются, жить веселее. Недаром, вероятно, в Швейцарии и Австрии, стиснутых горами, так много, по статистике, самоубийств, а в каменистых пустынях Аравии или на равнинах европейской России охотников разлучиться с жизнью почти нет. Миражи – да, вот что утешает. Выходит, утеснение и всеобщая скученность хуже, нежели миражи, иллюзии и ровные безлюдные горизонты?

Борис Кашеваров, пропуская редкие автомашины, которые ездили здесь, сокращая объездную дорогу, и высматривая, по привычке старого нищего, пустую стеклопосуду по кюветам, спустился с другой стороны холма к подножию и возле шикарной дачи, напоминающей готический замок, свернул к озеру. По весне там роскошно цвела густая черемуха, которую к осени путешественник Кашеваров вчистую освобождал от плодов прежде, чем спохватывались заняться тем же птицы небесные. На горбатом деревянном мостике, переброшенном через ручей, он опять, как и на железнодорожном, останавливался на пару минут, опершись на перила. И тупо смотрел в воду. Вода здесь была застойная, мутная, в ряске и почти не текла, спертая горловиной озера; в ней так же, как и в реке, никто не водился, кроме рваного сапога голенищем вверх, который сидел прочно на мели, как подбитый вражеский дредноут. Рыбаки, однако, иногда торчали в камышах, ибо первобытные инстинкты прочно живут в мужчинах, даже если не пригождаются (потому что пойманной рыбы у них или хотя бы поклевки терпеливый Кашеваров ни разу не наблюдал). Тут же внаглую подчас шныряли дикие утки с выводком утят, поскольку ни одного ружья в деревне Илькино уже не было зарегистрировано, и утки потеряли совесть, а вальдшнепы – те всякий вечер со свистом носились над кочковатым лугом чуть дальше по ручью, как комары с навостренным жалом.

От мостика тропа преображалась в плохо замощенную гаревую дорожку (свалили и чуть разровняли шлак из котельной) и выводила к двухэтажным коммунальным домам ветхой постройки. На вторых этажах часто полоскались пеленки, а в обширных лопухах вонял большой мусорный контейнер, переполненный так, что и подходы к нему были завалены мусором. Оставалось только отвратить взоры от зрелища безотрадной бедности и обратить их к водным просторам, как поступил тот богатый дачник, владелец замка, окна которого сияли теперь под солнцем уже с того берега.

Если были деньги и настроение, Кашеваров заходил в продуктовый магазин, на прилавках которого были разложены также мужские трусы, женская бижутерия, мыло и стиральный порошок в соседстве с селедкой в рассоле; съедобные продукты и ядохимикаты не смешивались, а именно мирно соседствовали, открыто представляя простые потребности мирных поселян. Кашеваров покупал селедку, если хотелось соленого, или халву, если – сладкого, и отправлялся с ношей дальше по берегу. Озеро, чуть отступая здесь, обнажило серое илистое дно с одинокими мелкими ракушками и страшными усатыми жужелицами, которые кормились донными отложениями и жировали на зиму. Две очень старые толстые ветлы торчали на берегу, широко рассевшись и развалившись от комлей, точно мангровые заросли. Тропа здесь вертелась подле длинного деревянного забора; проходя под ветлами, Кашеваров почти ежедневно наблюдал одну и ту же, уже седую ворону на ближнем суку, которая не только не улетала при его приближении, но и каркала редко, лишь в пасмурную погоду: она ощипывалась и приподымала ревматические крылья по ветру, чтобы выдуло блох, а случалось, что и переступала на суку при виде Кашеварова, но большого взаимного интереса между ними не было. Художник только с насмешкой думал, что такую ворону уместно бы рисовать на поле брани, на доспехах павших воинов.

Несколько изб в ряд выстроились дальше по берегу, а тропа преображалась в проезжую дорогу; прицеп или малолитражка обязательно стояли на заулке, приткнувшись к палисаду, а поздней осенью в этот час уже затапливали печь; в промозглой сырости от холодного дождя и сморщенного свинцового озера так приятно было обонять березовый дымок, завивающийся из трубы. Миновав эту одностороннюю улочку, окнами на озеро, Кашеваров выходил к обширной, запущенной свалке, чуть присыпанной от дороги: свалили несколько самосвалов песка, но бульдозером разровнять забыли. Здесь дорога опять круто поворачивала налево и шла уже асфальтированная по узкой дамбе, обсаженной с обеих сторон ясенями и липами. От начала, от свалки эта узкая аллея в солнечный день казалась даже живописной.

На гладком и прямом пути жить не интересно; это чуют даже тупые шоферюги, которые чаще разбиваются именно на прямых участках шоссе. Вот и эта аллея, хоть и заросшая, не влекла в путь. Справа под откосом, который образовался, когда насып*а*ли дамбу, зеленел овальный прудок, сплошь и толстым слоем покрытый тиной, которую бороздили, оставляя узкий след в зеленом поле, две жирные утки: плоским клювом, как газонокосилкой, они щекотали поверхность, и было странно, что такое обилие пищи их все же не отвращает. Слева сквозь корявые стволы ясеней далеко просматривалась гладь озера и даже горбатый мостик, хотя до него даже по прямой было теперь метров пятьсот. Кашеваров держался справа, пересекая один за другим, как вехи, одинаково рослые и густые деревья, пока не вышел к шлюзу. В створе шумела вода, извергаясь в широкий стальной короб, а оттуда – в неглубокий омут с пенными водоворотами. Даже задерживаться тут не хотелось, у этой илькинской Ниагары.

Повернув от шлюза направо, Кашеваров дальше шел обрывистым берегом реки. Берег был обрывист, к воде насползало много кривых ветел и черемух. Запруживая реку почти до другого берега, они собирали в своих мокрых ветвях целые заплотки пластиковых бутылок, листьев и прибрежных отбросов. Что могло родиться в такой воде, если она и по виду-то смахивает на ассенизационные стоки? Надо ждать сто лет, и без людей на ее берегах, чтобы она, наконец, очистилась и обзавелась живностью, эта река. Тропа шла так близко к обрыву, что зимой фланер и прогульщик Кашеваров даже однажды соскользнул туда по гололедице. Хорошо, уже был лед, а то бы набултыхался в холодной воде.

Несколько финских двухквартирных домов сопровождали безрадостного художника слева. Финские дома старой постройки, когда углы уже подгнили, а шифер прохудился, зрелище более мирное, чем кирпичный замок богача, но и примитивное прозябание старух-инвалидок (за калиткой – горка наколотых дров, хлевушки, курятник, кошка и крытая помойка) не показалось милее сердцу. Почему так очерствела душа? Разве не хотелось еще в юности всех любить, разве от вида такой вот свесившейся до штакетника драной рябины не хотелось прежде запеть? Вспомнив прежние апперцепции, Кашеваров разомкнул спекшийся рот и загнусил: «В саду гори-и-ит огонь рябины красной, но никого не может он согреть…»

Дальше открылся огороженный стальным забором стадион, на котором мальчишки, местные и меленковские, состязались в хоккейных баталиях, а летом гоняли мяч. Огораживать надо было еще и для того, чтобы мяч не катился в реку, а шайба не выскакивала на дорогу. По обочинам росли несколько хмурых елей и сосны, а затем тропа выводила Кашеварова прямехонько в тот самый заулок, в котором его сегодня дразнил гнилой детсадовский мальчишка, воспитанник социума. Теперь детей во дворе сада не оказалось: вероятно, нянечки увели их на обед. Было даже тихо среди этих песочниц, качелей, шведских стенок и беседок. Усталый, но без всякого душевного энтузиазма возвращался Кашеваров к своему порогу. «Восьмерка», утомительная, как лента Мёбиуса или знак «бесконечность», была пройдена, вальс завершился последним па, исхода в стационарном бытии не просматривалось никакого.

Художник Борис Кашеваров отодвинул березовый батожок от двери (он применял северный, скандинавский способ защиты жилища: если у двери снаружи стоял батог, значит, хозяина не было дома; однако во Владимирской области, где часто, много, веками разбойничали татары, этот способ уже не срабатывал, и избу дважды обкрадывали). После прогулки как homo erectus он захотел еще поработать полусогнутым, взял веник и вымел сор из избы: он отнес его на совке в лопухи, где была выкопана небольшая помойка с водоотводом, и ссыпал там. Вечер приближался очень хороший, с закатами, которые и запечатлеть бы не помешало, но Кашеваров опять не ощутил достаточного воодушевления, а просто скинул прогулочное платье и стал переодеваться к вечерней дойке. Корова Ревунья сильно нервничала, потому что на соске у нее была трещина; при дойке вручную можно было получить хвостом по морде, а если использовать аппарат, приходилось этот сосок освобождать. «Чем мазать? – думал долговязый

русский художник Б. Кашеваров, клон писателя и художника Роберта Вальзера, засовывая в карман примитивную мазь Вишневского. – Она же не выздоровеет еще две недели…»

Так практическое и для народа полезное занятие приучает нас к практическим мыслям и простым путям, в то время как искусство разлучает с благоразумием. Отправляясь на дойку, художник уже не опасался, что придется когда-нибудь разделить судьбу Вальзера, а подчинялся простому трудовому навыку и привязанности к мирным животным. Коровы не хуже его самого понимали, что все тщетно, кроме еды и производства полезного продукта.

ВОРОВСКОЙ ЭСКОРТ, или ЧУЖИЕ СВОИ

I

Интегральная схема или дифференциация – какой метод не примени, хорошего результата в нашей истории не достичь. Шерлока Холмса впустить? – слишком мало конкретики, и самое преступление не очевидно. Можно бы представить дерево, в котором одна ветвь – мощная и развитая, другая, рядом – тощий отросток с одной-единственной развилкой, а возле мощной ветви – выпуклую почку или всего лишь лист, сквозь кору проклюнувшийся прямо от ствола, – представить и порассуждать, какая же сволочь – эта мощная ветвь, совсем она задавила почку, как они взаимозависимы на одном древе, все эти генетические варианты: ствол, ветвь, ветка, почка, рядышком друг с другом. Другой с другим, то есть иной с иным. Разные, негодяи, а на одном генеалогическом древе растут.

(Ну, в России-то ветвь и особенно ствол всегда правы, иначе бы Толстой, Ленин, Бунин, М. Булгаков, Гоголь, Пушкин, Маяковский, Есенин, то есть многосемейные или отпрыски многосемейных не были так славны и хвалимы. На лист или почку никто в нашей стране и внимания-то не обратит; из листа ведь не разовьется плод, верно?)

Можно бы прибегнуть к компьютерной графике, изобразить здоровенную березу, а рядом, из семейства березовых, тощую лещину, а под ней – подберезовиков штук двадцать и восхититься, в каком гармоничном единстве, в каком прекрасном симбиозе они сосуществуют, виды, роды и семейства. Ну, а пространство и время, которые не одинаковы или даже разнонаправлены, как вы изобразите? Человеческий род или даже простая семья – не роща: разбросаны в пространстве и времени. Так что высшая математика, мультипликация, криминалистика – все методы не годятся в нашем случае, когда надо изобразить течение времени, повторяемость и пугающие закономерности генетики.

Павел Первунинский не заморачивался бы на этом, если бы не беспокоился. В те годы он только поступил в политехнический институт и был первокурсником. Люби он технику и деньги конкретно, он поступил бы таксистом в таксопарк или трактористом на трелевочный трактор, но он уже в 17 лет был слегка заморочен и любил различную технику, причем абстрактно: поли-технику. И вот они его гнали по стволу, все жизненные силы его родословного древа, гнали в надежде, что возгонят его до великолепного цветка на конце живоносной ветви, а потом и до плода. Он же думал, что действует *сам: сам* поступил в институт, *сам* успешно сдал экзамены и *сам* радуется, что студент. Так что, сами понимаете: можно быть пешкой в чужих руках, а думать, что ты герой, генерал. Молодости очень свойственно заблуждаться на свой счет. И Павел Первунинский понимал, что все в его жизни теперь будет по-новому.

И правда, уже в октябре (занятия начинались с 1 сентября) в комнату в студенческом общежитие в городе Логатове, которую он делил с двумя товарищами-первокурсниками, пришла комендантшина дочка Настя.

Комендантша общежития, тетя Надя, встрепанная ворчунья лет сорока, часто вполпьяна, с отечными мешками нижних век, проживала вместе с дочерью в такой же комнате по тому же коридору, только ближе к парадному входу. Она всегда была на стреме и пресекала попытки чужих ребят или даже званых гостей проникнуть в общагу и погулять со студентами. Она и Первунинского поначалу задерживала, пока не узнала в лицо. Шли толки, что она плохо исполняет свои обязанности, ворует белье и деньги, потому что имеет ключи от всех комнат, пьянствует и якшается с городскими проходимцами. Потому что, вообще говоря, раз она комен-

дант общежития, она бы и должна расселять студентов по комнатам, менять постельное белье и разгонять пьянки после полуночи, но ничего этого не делала. Дым коромыслом стоял на обоих этажах студенческого общежития Логатовского политеха, особенно за полночь. Часто сама тетя Надя, с хихиканьем и скабрезными шутками, явившись якобы разгонять пьяниц, принимала отступного – стакан вина или водки, и в полчаса вдруг захмелев и насупясь (что бывает у любителей в чужом пиру похмелья), объявляла, чтоб вели себя тихо, а то проректор спросит с нее за ихнее баловство и хулиганство, и студенты, конечно же, клятвенно заверяли, что всё будет тип-топ. «Тетя Надя! Да мы за тебя горой встанем!… Тетя Надя! Да мы не шумим: комар слышно как пролетит… Тетя Надя! Прими еще: сливовица, первый сорт, молдавская, сла-а-адкая!…»

Выпив и закусив, тетя Надя возвращалась к себе в нору. Она управляла свою скромную должность по-русски: поборами, мздоимством и попустительством. Студенту Первунинскому так и казалось, что она всего боится, трясется над каждым пододеяльником и высчитывает со старост за каждую перегоревшую лампочку 30 ватт. Прилежные первокурсницы – баиньки уже в десять вечера, – ее не любили, потому что она производила много шума и помех в учебе, а записные выпивохи, особенно со старших курсов, обожали за доброту, покладистость и нежную внимательность. Неряшливая, в растянутой красной кофте, с дынями грудей на две стороны, она производила тяжкое впечатление, но, конечно, только на тех, кто, как Первунинский, не знал и идеализировал жизнь. Распутное начальство – такой оксюморон еще не был привычен юному политехнику, а самая манера экспансивной наглости – пугала и смущала: разве так можно? Зато, равно как и у самых робких и прилежных первокурсниц, у него сразу сформировалось убеждение, что тетя Надя здесь главная, что без нее ничто в общежитии не делается, что на любое поползновение следует попросить разрешения у тети Нади. У той самой, с которой ни здороваться, ни вообще обращаться не хотелось.

Чистоплюй Первунинский, дорожа незамаранной репутацией, лежал на своей койке вдоль глухой стены и, чуть извернув голову, с тоской смотрел в окно, в котором стыл дождливый белый свет и желтел подол облетавшей березы. Был час дня, его товарищи ушли в институт слушать лекции, а Первунинский проспал и теперь хандрил.

В дверь вкрадчиво постучали, почти поскреблись. Когда Первунинский отозвался, вошла Настя. Подсознательно даже лох и глупец Павел Первунинский тотчас понял, что Настя по наущению матери шмыгала по комнатам, пока студенты на лекциях, и шарила по карманам и сумкам, что она, в общем, не ожидала его увидеть, так как вошла с ключом в руках, а что стучала и скреблась из притворства: мало ли что, вдруг кто дома запершись сидит. Интуиция ее не подвела: студент Первунинский прогуливал, дрых.

– Дрыхнешь? – игриво осведомилась Настя, пряча связку ключей в кулачок и плюхаясь на кровать, прямо на ноги студенту.

– Проспал! – признался Первунинский, обрадовавшись гостье, из вежливости подгибая ноги.

Настя была тоненькая, жгучая девочка-брюнетка лет пятнадцати, довольно смазливая, какими бывают цыганки в этом возрасте, и в такой затрапезе, что даже превосходила матушку: в халате и в шароварах. Удивляло, что внешне она совсем не походила на мать: та была шатенка, мешковатая распустеха со следами потасканной красоты, а эта – грациозная и хищная, как перевязка (пестрый халат только усиливал сходство с этим грызуном).

– Надо запираться, если дрыхнешь! – наставительно сказала девочка, пересела ближе и положила руку прямо на его промежность. Первунинский не то чтобы затрепетал или взвился, а от неожиданности притих, колена вновь разогнул и весь напрягся. Настя улыбалась игриво, во весь большой, некрасивый рот, и выражение у нее на лице было самое заинтересованное, любознательное, как у начинающего алхимика: а вот посмотрим, что будет, если эти химикалии смешать. Она словно бы пытливо заглядывала в колбу, настроенная на научный поиск и

эксперимент, но при этом не уверенная, что опыт удастся. Она только сделала вдруг еще одну странную вещь – приспустила шаровары, и всем своим составом села первокурснику Первунинскому на бедра. Он не успел отодвинуться к стене, увернуться, она застала его врасплох и теперь сидела на его напрягшемся мужском естестве, испытующе, загадочно и грязно улыбаясь. Это было искушение в чистом агиографическом смысле: явилась и искушает. Он же чувствовал: на ней нет даже трусов. При этом дверь не была заперта, он лежал навзничь и защищался, как любая жертва похоти. Он ее не спихивал, нет, но пуговицы на ширинке были застегнуты накрепко, вздыбленная плоть не помещалась в тесноте и страдала.

– Отстань!

– Нет, не отстану! А что дашь?

Первунинский опупел и онемел. Его грубо и нагло насиловали, но разговор шел не о том; его испытывали, искушали, провоцировали. Настя ждала от него совсем другого, а не того, чтобы он ее ссаживал и увертывался.

– Какой здоровый! – одобрительно отозвалась она, приоткрывая рот шире и улыбаясь взволнованнее. Если бы первокурсник политеха знал такое слово, он подумал бы: «блудливее». Она ерзала на нем голой попой и упиралась левой рукой ему в грудь. Положение было странное и оскорбительное для мужского самолюбия: уселась, дура, как на коня, и ноги свесила набок. Ему же неловко этак…

Она вертелась чисто как вьюн, черные волосы прядями сыпались и струились по плечам и спине, но когда он, чтобы хоть немного ее отстранить, поднял руку, то под халатом ничего не нащупал, никакой груди вообще. Только и чувствовал, что голую влажную ее промежность, и странный какой-то запах, и изо рта у нее, когда наклонялась ниже, тоже попахивало гнилыми зубами. Что-то совершалось совсем непристойное, и он в этом участвовал не без содрогания и трепета, но с волнением.

– Ты что, совсем озверела? – хрипло сказал он.

– Боишься? – вызывающе и тоже хрипло спросила она, перестав ерзать.

То, что он не нащупал у нее груди, а только нелепые бугорки, то, что она волновалась, учащенно дышала и чего-то требовала (не позволяя при этом хотя бы штаны расстегнуть), – всё это так высокоморально подействовало на студента Первунинского, что сквозь тревогу и боязнь он бегло подумал о «совращении малолетних», о том, что сейчас войдет тетя Надя с обычной площадной бранью или, того хуже, вернутся ребята с лекций, и что пора прекращать это безобразие.

– Ты, чокнутая! Дверь же открыта!

– А запереть? – Интонация ее голоса была самая просительная, даже жалобная.

– Да иди ты к черту! Навалилась… – тоже жалобно, тоже сквозь слезы отозвался первокурсник, проваливаясь на первом жизненном экзамене.

– Я еще приду!… – зловеще пообещала она, встала, подтянула шаровары и выскочила за дверь, – только черные испанские пряди волос взметнулись на полспины.

Ошеломленный Первунинский лежал пластом, трепетал, бился в конвульсиях невоплощенной страсти и дышал, как паровоз. Его буквально трясло.

II

И что бы вы думали? Она действительно пришла, – правда, через двадцать четыре года. Инженеру Павлу Первунинскому было, – считайте, – семнадцать плюс двадцать четыре: сорок один год.

Вот вы говорите, мол, опыт, мол, можно избежать ошибок и поражений на жизненном пути, мол, Эдип не должен был верить предсказаниям оракула, жениться на матери, убивать отца, тогда не случилось бы предсказанной катастрофы. А я вам говорю, что жизненного алго-

ритма избежать невозможно, что судьба – это те генетические рельсы, по которым катит поезд нашей жизни, а если он сойдет с рельсов, то расшибется. И если он запрограммирован ехать по спирали, то на определенном участке пути проезжает те же станции. От пассажира ну ничего не зависит, разве что он попытается выскочить на ходу под насыпь.

Уже в первое свое искушение Первунинский обязан был запомнить вот какие характеристики алгоритма. Грязная девчонка. Ее мать, начальственное лицо, неряха, педель, куратор, надзиратель над студентами, воспитатель. Страшная бедность и распутство. Общежитие. Город. Он холостяк, готовый начать карьеру, восхождение, обучение. И, проезжая мимо станции с такими же характеристиками, он обязан был тормозить, сворачивать, прыгать под откос.

Согласитесь, что можно не знать, как взаимодействуют между собой ствол, ветвь, ветка, лист, почка, кора, потому что с этим пускай индивидуальное дерево разбирается. Можно не знать, как сотрудничают и враждуют в близком соседстве береза, орешник, грибы подберезовики, цветы, кустарник и прочие деревья на определенном участке. Дерево изучает ботаник, добрососедство в тайге – эколог, биолог, политолог. Но собственные генетические предрасположенности обязан знать каждый человек, чтобы, ошибившись в 17 лет, не ошибиться в 41. Он обязан знать цикличность жизни, прогнозы астрологов, собственный род хотя бы до второго колена.

Первунинский обязан был знать, родители должны были ему сообщить о том, что у него есть тетка с двенадцатью детьми, половина из которых – нагулянные, настоящий цыганский табор. Он должен был знать, что у него есть вторая тетка, «успешная», с единственной дочерью, весьма экспансивной, и должен был знать, что эта вторая тетка – горожанка, весьма заинтересованная протолкнуть, пристроить и возвысить свою собственную дочку и помешать карьере племянника. А в свои 17 лет он с ней, со второй, даже еще не познакомился, он знать не знал, что на него эти два влиятельных генетических фактора воздействуют: тетка-цыганка-воровка-нищенка и тетка-карьеристка-надзирательница-опекунша, собирающая молодежь под свое крыло (а она с течением времени половину этого цыганского табора перетащила в Москву и пристроила там, а своей дочери дала вполне приличную, интеллигентскую профессию – экономист-бухгалтер, считать деньги). И наконец, Первунинский уже студентом политехнического института должен был помнить, что у него есть старшая родная сестра, весьма экспансивная особа совсем без образования, но честолюбивая побольше его самого, и что мать озабочена, и как бы сыну дать образование, и как бы неумеху-дочь пристроить к делу (при их-то бедности). И вот, обладая всеми этими параметрическими данными, Первунинский обязан был не по накатанным рельсам предписанного алгоритма жить, а выстраивать свой собственный.

Увы!

В Москве разведенный инженер Первунинский поселился в доме, которые называются «гостиничного типа». Прежде богатые купцы строили доходные дома, где бедняки могли снять или купить квартиры каждый по своим возможностям. Ну, а для изгоев социализма придумали дома «гостиничного типа», то есть те же студенческие общежития с длинным мрачным коридором вдоль всего этажа; каждая комната, от 9 до 12 м^2, считалась индивидуальной квартирой. В таких квартирах жили пенсионеры, инвалиды, совсем бедные семейные пары и холостяки, вроде Первунинского, который денег, чтобы купить приличное жилье, не имел, а из прежней квартиры был изгнан женой. Таким образом, одна компонента прежней схемы – общежитие – повторилась. Заметим, что «успешная» тетка жила в той же Москве, Первунинский с ней и с кузиной, которая полюбила считать деньги, уже познакомился, а табор располагался в логатовской деревне, лишь частично переехав на жительство в столицу («успешная» тетка пеклась о родственниках, обо всех родственниках, кроме Павла Первунинского; потому что к нему она отнеслась внешне приветливо, а внутренне – неприязненно). Следовательно, куратор над студентами и местоблюститель тоже опять был. «Студент» – это человек, у которого нет достаточных жизненных навыков и профессии, который нуждается в воспитании, в обучении, в опеке.

Таким образом, Первунинский был снова студентом, подопечным, даром что ни товарищей по институту, ни тети Нади на том же этаже ближе к парадному входу не было. Товарищами по обучению вполне можно было счесть двоюродных братцев из табора, тетей Надей – заведующую хозяйственной частью института геодезии и картографии Т.Б.Сазонову (в девичестве Первунинскую), а Настей…

Настю звали на самом деле Татьяна Моисеевна Метелина. Внешне она и близко не напоминала кузину, которая любила считать деньги. Вы догадываетесь, что это была опять худая, тощая, черноволосая еврейка в брючках, в белой шубке сомнительного свойства (возможно, заячьей), с оживленной мимикой и с такими неправильными чертами лица, что оно напоминало веселый шарж. Кажется, из еврейского обличия оставались одни только щеки, словно бы отекающие на скулы, – брыла, которые можно надувать, когда к тебе обращаются за советом или ссудой. А в остальном это было милое, грациозное создание, очень экспансивное, постоянно с улыбкой, хотя у нее были острые не только резцы, а даже передние зубы; так что на перевязку в оскале она, может, и не тянула, но на черного хоря – непременно. При такой худобе даже в облегающей одежде грудь Татьяны Моисеевны, 42 лет, лишь слабо обозначалась бугорками, зато на кафедре советской литературы она занимала должность профессора, а на факультете предполиграфической подготовки печатной продукции – должность декана. Павел Первунинский работал в БТИ – бюро технической инвентаризации, снимал и визировал поэтажные планы самых различных зданий, квартир, дач, домов и производственных сооружений. Работа была самая пакостная, ради нее не стоило заканчивать пять курсов политехнического института; набив руку, с этим справился бы и шимпанзе.

Вы понимаете, что, разведясь, мужчина начинает новую жизнь, полон планов и расчетов с тем, чтобы избежать прежних ошибок. И Павел Первунинский понимал, что всё в его жизни теперь будет по-новому. Но оказывается, на его счет у соседей по временн*о*му континууму были собственные планы и расчеты, оказывается, к нему уже стучались со связкой его собственных ключей в горсти, и это притом, что он был беднее бедного, а богат только перспективами, мечтами, возможностями.

С Татьяной Моисеевной его познакомил приятель. Они встретились несколько раз в вестибюлях метро и посетили ближние кафе. Первунинского поразило, насколько живее, интимнее, веселее и мудрее эта профессорша, чем бывшая жена, насколько больше интересуется его собственными жизненными целями и откровеннее рассказывает о своих. Татьяна Моисеевна глухо намекнула, что на Урале у нее живет мама, заслуженный, отмеченный наградами педагог, престарелая, умная женщина, которую не худо бы перевезти в Москву или в Подмосковье, чтобы им быть вместе. Уходя с этого свидания, Первунинский тормознул на стрелке и готовился сорвать стоп-кран, но если вы думаете, что он вспомнил Настю и тетю Надю, то ошибаетесь: во все время романа с еврейкой мысль об этих двоих ни разу не всплыла в голове неразумного инженера. А тормознул и задумался он совсем по другой причине. Он возвращался со свидания в холостую квартирку и думал: «Черт возьми! Но у меня же есть собственная мать, и она, возможно, ждет, что я в Москве преуспею и ее перевезу на постоянное жительство. Я что, идиот? Или святорусский богатырь какой, чтобы Татьяне Моисеевне помогать, а о своей матушке забыть? Нет, понятно, что моя-то матушка не поедет в Москву, не захочет разлучаться с отцом и с Кесной, к которой привыкла. «Чего я в Москве-то забыла? – скажет она. – В Москве-то и на жопе надо иметь глаза. С нашими ли привычками жить по городам?…» Но все же написать ей подробное письмо и поделиться планами следует…»

Недели не понадобилось, чтобы сыну с матерью обменяться письмами. Мать, усталая русская крестьянка, выслушала его соображения насчет новой просвещенной жены, кажется, не русской национальности, но высказалась совсем о другом: она велела сыну лучше сойтись с прежней женой ради общего ребенка, решительно отказалась ехать в Москву при любом исходе дела, отругала за нераспорядительность, пожаловалась на свое и отцово здоровье, что корову

пришлось сдать на мясо, так как не доила ни черта, что в магазине, кроме хлеба и квашеной капусты, товаров нет, что Горбачев болтун, по телевизору всё врут, «даже слушать тошно», что с людьми-то надо уметь ладить, а «таким вспыльчивым и гоношистым-то, как ты, живется несладко». Альтернатива была до странности плохая, потому что как раз взаимопонимания-то с матерью он и искал; она была единственным человеком, перед которым он был обязан отчитываться в поступках: жертвовала-то ради него она, и жертвовала часто. А теперь выходило, что на свою мать наплюнь, а вероятностной теще помоги.

«Что они меня растаскивают-то на куски? – смутно беспокоился инженер Первунинский. – Почему бы той же Сазоновой Т.Б. хоть раз за шесть-то лет не позвонить? Ни разу ведь не звонила мне сама, ни разу! Ну ладно, она занятой человек, так пусть Ленка позвонит: ведь ей известен же мой номер телефона. Что у меня за родственники?!! Десятилетиями обращаюсь к ним я, они ко мне – ни разу! Точно я компасная стрелка, а они – Северный магнитный полюс. Русские люди, а точно смертельные враги или павианы в джунглях. Что вот теперь делать? Мать с отцом сюда не поедут: негде жить, квартиры-то нет у меня приличной. Они уж скорее к сестре подадутся доживать: ближе к природе. Бывшая жена не звонит. Нет, ну правильно, что не звонит: только недавно развелись, чего заново начинать канитель? Но дочь-то какого черта ни разу за эти два года не отнеслась никак? Что у нее-то вместо сердца, камень? Не хочет мешать? Очень может быть, что не хочет мешать. Но, не информируя меня о себе и своей матери, утаивая, она как раз этого и добивается: мешает. А эти, двоюродные, бастарды эти несусветные цыганские, – они-то что? Тоже считают себя шибко умными, чтобы с родственником – инженеришкой общаться? Уж они-то вроде бы совсем голь перекатная…»

Симпатичный, седоватый, низкооплачиваемый инженер Первунинский так разозлился на общую статификацию русского бытия среди иноплеменников, что после свидания отправился в магазин и купил себе новую куртку, зеленую, на молнии, с карманчиками даже на рукавах и на спине. Он бы охотно разложил по ним взрывчатку, наркотики, ампулы с ядом, финки, пистолеты, свинчатки, а в нагрудный потайной – баксов восемьсот зелененьких, но ничего этого не имел, а только ощутил удовлетворение, что теперь одет не хуже Татьяны Моисеевны, а может, и почище. Неприятно, что он настолько оставлен всеми, зато самостоятелен в выборе.

– По одежке протягивай ножки, – произнес он любимую поговорку бывшей жены, русской дуры, самоотверженной всегда, но невпопад, услужающей чужим, а не мужу, «долготерпеливой и многомилостивой», как говорится в одной еврейской молитве. – Как потопаешь, так и полопаешь. По одежке встречают, по уму провожают. Смотри, у кого хуже. На чужой каравай рот не разевай. «А вот то будет, что и нас не будет», Л.Н.Толстой.

«С такой национальной философией нас всех можно по карманам растащить», – подумал он уже молча и включил чайник, чтобы выпить кофе. Что-то он не понимал, как ему поступить. Оставалось только вытянуться на кровати, извернув голову к окну, и пожалеть, что товарищи по комнате приобретают знания, чтобы потом выслужиться, а он продрых до обеда. Или у него честолюбия нет, или он и вправду простофиля.

В дверь коротко, вкрадчиво позвонили. Первунинский открыл. За дверью стояла и улыбалась Татьяна Метелина.

– Ой, я так рада, что застала вас, – сказала она.

– Вот, она пришла и сейчас меня отметелит, – сострил Первунинский.

Татьяна Метелина была женственная, даже субтильная особа, но производила впечатление высокой и крепкой женщины, особенно в этой шубке. Она ходила не просто прямо, а чуть наклоняясь вперед, приподняв и расправив плечи, как если бы готовилась бодаться (Телец по знаку зодиака). Казалось, она в боевой стойке, в исходной позиции, но только не понятно, в каком виде спорта. Боксеры, хоть и приподнимают плечи, но ужимаются, концентрируются и глядят исподлобья, рапиристы же хоть так же открыты, но глазами ищут, куда ткнуть. В обще-

нии с первых слов и до последних она, казалось, выражала только благоприличную радость от фраз и действий собеседника, непринужденно смеялась и часто демонстрировала позу сидящей бабочки: только возьми за крылышки, и ей капец. Сейчас она тоже благодушно, как ротозей в очередной передряге по собственной вине, улыбалась, так что нельзя было и думать ее упрекнуть. Но Первунинский все же добавил с досадой:

– Вообще-то хорошо бы предупреждать в таких случаях.

– Ой, я так хотела вас повидать. Я нарочно с Преображенской барахолки сюда проехала. В прошлый раз вы уехали такой сумрачный, когда я сказала, что мама дворянка, что у нее было двенадцать человек детей и что меня воспитывала няня. Но мы, правда, дворяне, няню я и до сих пор тепло вспоминаю.

– Входите, дворянка, не в коридоре же разговаривать.

Первунинский прикрыл за ней дверь и тотчас сделал руки наизготовку, как вымуштрованный швейцар, когда принимает шубу богатой дамы. Отличие Татьяны Метелиной от экс-супруги было в том, что за ней можно и должно было ухаживать, супруга же не только пальто принимать не позволяла, но и мысли не допускала, чтобы прикинуться беспомощной или глуповатой. Между тем мужчинам это зачастую нравится. С бывшей супругой Первунинский сам чувствовал себя двенадцатым, самым нежеланным ребенком, поскребышем в бедной дворянской семье: не то что в браке состоять с ним, а и вполне без него обойтись можно было бы.

Он повесил шубку профессорши во встроенный шкаф, закрыл створки на шпингалет и повернулся к гостье:

– Ну, как вам моя нора?

– У вас дом, я заметила, как улей: я не сразу вас нашла.

– Присаживайтесь, раз разыскали. Я собирался кофейничать один. Или, может, чего покрепче? У меня есть, грузинское, саперави…

– Ой, ну если немножко…

Ужасно нравилось инженеру Первунинскому ухаживать за женщинами, чувствовать себя молодцом, покровителем, благотворителем да и просто нужным. Несмотря на восемь лет брака, это он ощутил впервые – что он нужен, что в нем заинтересованы, что просят поддержки. Жаль только, что теперь Татьяна Метелина поняла, каково его истинное материальное положение. Хотя знакомство с потомственными педагогами ставило Первунинского в зависимое положение недоучки, растеряхи и гугнивого юродивого, эти качества сейчас с готовностью демонстрировала довольно симпатичная еврейка, с подвешенным языком и способная нравиться. Первунинский ничего не понимал, потому что дурачком-то и неудачником почитал как раз самого себя, а собеседницу считал дамой полусвета с хорошим общественным статусом. И чего она в нем нашла? И отчего никто из двенадцати детей не поможет ее дорогой, заслуженной маме? И что между ними общего, если он технарь, а она литературу преподает? Он только недавно развелся и возрадовался, а вот она вошла, личного пространства у него сразу убавилось, мечты поблекли, а планы видоизменились. Потому что, пока она не нагрянула, он планировал, за кем приударить, за латышкой или за одной знакомой русской женщиной из простой фамилии, с которой не придется обсуждать учение Карла Густава Юнга. «Юнг – это от слова «юный»? – с обычным своим юмором висельника спросил Первунинский у профессорши при последней встрече. – Почти, – с готовностью подхватила она. – Есть смысловое сближение, есть. Поэтому молодежь так им увлечена».

– Вам, Татьяна Моисеевна, нельзя появляться в таких домах. Вас здесь могут оскорбить. Здесь дно жизни, здесь ад. Я не Эвридика, а вы не Орфей, чтобы вам сюда спускаться.

Проблема полов тоже интересовала Татьяну Метелину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.